



ЕКАТЕРИНА ЛЕСИНА

Крест мертвых богов

ЭКСМО

Артефакт & Детектив

Екатерина Лесина
Крест мертвых богов

«ЭКСМО»

2008

Лесина Е.

Крест мертвых богов / Е. Лесина — «Эксмо», 2008 — (Артефакт & Детектив)

Языческий крест спас дружиннику Матвею жизнь, а когда он отплатил за спасение пролитой кровью, стал проклятием... Из рук в руки переходил Мертвый крест, оберегая своего владельца от всех напастей, но обрекая на скорую смерть его самых близких и дорогих людей. Сила проклятия не ослабела и в наши дни. Мертвый крест продолжает существовать в виде знака-клейма, которым отмечает свои жертвы серийный убийца... Приезд племянника Данилы перевернул жизнь успешной бизнес-леди Яны, заставив участвовать в игре, начавшейся задолго до ее рождения. А все потому, что от прадеда, бывшего в 30-е годы полпредом ОГПУ, ее семье достался древний языческий крест...

© Лесина Е., 2008

© Эксмо, 2008

Содержание

Яна	9
Данила	11
Руслан	13
Год 1928. Дыбчин	15
Яна	18
Данила	20
Руслан	21
Яна	25
Данила	27
Руслан	29
Яна	35
Данила	37
Руслан	39
Яна	43
Данила	45
Руслан	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Екатерина Лесина

Крест мертвых богов

Жить хочу. Здесь, сейчас, всегда. Дышать, чтоб мерзлый воздух драл горло и горели расцарапанные руки. Боль гаснет, а вместо радости – страх: не станет боли, не станет и жизни. Уйду, потеряюсь в черноте, в темноте, в белесой метели.

Снег в лицо мелкою крупной, слизать, скусить ледышки с губ, проглотить, не ощущая вкуса, и вперед, еще шаг, еще немного, по пояс проваливаясь в рыхлых сугробах. Господи Милосердный, спаси же раба своего, оборони, защити, выведи... не так и грешен Матвей перед Тобою... а в чем грешен, в том и кается. И как не покаяться, когда небо тучи лохматые заполнили, ни кусочка, ни звездочки, ни луны кривой, недоспелой, темнота вокруг да снег.

Пощади, Господи, Матвей уж для Тебя ничего не пожалеет, хоть денег на храм отсыпет, все, что есть, до копеечки, до грошика ломаного распоследнего отдаст за благодать-то Твою, за милосердие. А снег роится белыми пчелами, в рот лезет, в нос, и ноги пообмерзли... а идти-то надобно... Шаг за шагом, вперед... грешен Матвей, Господи, как есть грешен. Крал, обманывал, да и чего уж – и смертоубийством не брезговал, однако же в церковь регулярно наведывался, и на купола в соборе новом жертвовал, и на монастырь, который под Москвою закладывали, и к исповеди ходил... так отчего ж не спасешь-то, Господи?

Небо, покачнувшись, просело на землю, накрыло лохматыми лапами, придавило тяжестью, вышибая дух. Каюсь, как есть каюсь...

Жить хочу!

Жизнь возвращалась болью. Горела огнем шкура, кости крутило да ломало, закричать бы, завывать, но губы слепило слабостью невероятной. Еле-еле сил, чтоб дышать. И жить.

Спасибо, Господи.

– Ослаб он, Выгжа, – голос ласковый, и руки нежные, пахнут хорошо, ромашкою и цветом липовым, прижаться б щекой, заплакать, пожаловаться на то, как тяжело. Не привык Матвей жаловаться и плакать, но от запаха этого, от прикосновения, доброты полного, треснуло что-то внутри, надломилось, как лед вчерашний.

Или не вчера это было?

А что было-то? Охота, погоня, хмель в крови да кровь на снегу... оленя взяли и косят еще... кабана вот упустили, старый был, матерый, не забоялся, прямо на охотников пошел и Всеволодову коню брюхо вспорол...

Картинки перед глазами вставали яркие, живые, переливалась синевой да зеленью конская требуха, гасли глаза лиловые, потник чернел от крови, да таял на глазах снег.

– Жаром горит, Выгжа. Тяжко ему... – повторил все тот же голос. И вправду жарко, а ведь холодно вокруг.

Тучи в одночасье наплзли, серо-черные, набрякшие снегом, провислые. И ветер ледяной, такой, что и сквозь шубу выморозил, вытянул тепло. И темнота, и белые крылья метели, и люди, вдруг исчезнувшие, потерявшиеся в ледяной круговерти.

– Помоги, Выгжа, нехорошо это – человека без помощи бросать, – ромашковый запах обнимал и успокаивал. От мамки тоже ромашкою пахло, и липою, когда Матвейка маленьким был, болел часто, вот мамка и заваривала... мамка померла, Матвей вырос и не болел уже... до этого дня не болел.

Конь поначалу шел галопом, подстегиваемый голосом ветра, после, притомившись, перешел на рысь, на шаг и брел то ли вперед, то ли по кругу, Матвей не подгонял, Матвей берег его, боялся, что конь не выдержит и сдохнет. А тот все ж таки не выдержал, лег в сугроб и не подымался, несмотря на уговоры и нагайку, только глядел печально, совсем как Богоматерь с иконы.

Матвей ножом вспорол шею, напился горячей еще крови, вязкой и безвкусной, мясо есть не стал, не с брезгливости, а оттого, что жевать сил не было. Пить легче.

– Что ж ты молчишь, Выгжа? Неужто не поможешь?

– Помогу, – этот голос был сухой, строгий и неприятный. – Только все одно, зря ты, Синичка, мимо не проехала.

Синичка... смешное прозвище.

На лоб легла холодная рука, и мысли вместе с картинками исчезли.

Некрасивой она была, Синичка-невеличка: тощевата, угловата, личико меленькое, бровки белесые, волосики тоже светлые, в худую косицу собраны. Одно хорошо – глазницы, синие да яркие, и голосок тоненький, журчит, переливается водицей с камушка на камушек, убаюкивает.

– Выгжа сказывал, что прежде, давно-давно, так, что теперь и не упомнишь, наши боги над этою землею стояли, – Синичка щебечет и вышивает. Костяная игла белой искоркой мечется в ловких пальчиках, ровные стежки складываются ровным узором. – Сильные были боги, сильные были люди...

Наблюдать за ней приятно, конечно, куда б приятнее затащить девку на печь да не разговором бы развлечься, но живо пока в памяти строгое предупреждение ведьмака Выгжи да взгляд, от которого ноги на полдня отнялись. С Выгжей он потом посчитается, а пока и Синичку послушать можно, какая-никакая, а забава.

– Но случилось так, что сила да власть, которые людям потребны, богов порушили, – Синичка на мгновенье оторвалась от вышивки, чтобы сменить лучину. – Князь Владимир Братоубийца на престол взошел.

Матвей прикусил губу, чтоб не закричать. Да что эта девка глупая говорит, кого поносит! Язычница, поганка треклятая... ничего, придет час, выздоровеет Матвей, тогда и узнают, что значит вера истинная да имя Божие.

Видать, не зря Господь его испытывал, не зря вел сквозь снег и холод! Дело великое предстоит Матвею.

– И сам от богов отрекся, и людей заставил. Выгжа говорит, что по старой правде нельзя было Владимиру, на братьев родных руку поднявшему, стол Киевский брать, что грехи такие только кровью искупались, – продолжила Синичка, – по новой же вере колени преклони и отпущение получишь. А и вправду так?

– Вправду. – Матвей потянулся было к груди, где прежде висел нательный крестик, самим Филаретом освященный, но, вспомнив, одернул руку. Не было боле крестика, на кожаном шнурке висел знак поганский. И тоже ведь крест, только неправильный, не христианский, равные по длине перекладыны, перекрещиваясь в центре, изгибались. И в изгибах этих чудилось Матвею что-то змеиное, грязное, а снять никак. Матвей пробовал, особенно когда окреп достаточно, чтоб с печи вставать, навроде как почти поправился, но стоило снять амулет, как враз худо сделалось, до того холодно, что аж воздух в груди леденел.

– Солнышко это, с горочки катится, – объяснила как-то Синичка. – Выгжа сказал, что тебе только солнышком и отогреться, сила в нем, тому, кто хочет жить, – поможет...

Жить Матвей хотел, очень сильно хотел. Потому и терпел знак языческий, и почти уже не жалел о потерянном крестике. Господь был в сердце Матвеевом: Господь его спас, не Выгжа, не Синичка с ее отварами травяными, но Бог Милосердный...

Скрипнула дверь, холодом потянуло по ногам. Выгжа. Помяни нечистого к ночи.

– Здраве будь, Выгжа, – Синичка, отложив работу, поспешила к печи. Так уж повелось, что вечерали втроем – она, Матвей и Выгжа. Особого богатства в хате не водилось, однако еда всегда была сытной и в достатке. Ели молча, по очереди выбирая из горшка рассыпчатую крупяную кашу, сдобренную мясом да травами.

– Не загостился ли ты, добрый человек? – отчего-то Выгжа упорно называл Матвея именно так, «добрый человек», хотя имени своего Матвей не скрывал. Он вообще был странным, Выгжа, не старый еще, крепкий, широкий в плечах. В короткой клочковатой бороде блестяло изрядно седины, не меньше и в волосах, которые Выгжа заплетал в длинную, едва ли не до пояса, косу. А вот взгляд живой, цепкий, внимательный да руки гладкие, точно у боярыни. Не воин Выгжа, не пахарь и не кузнец, а знахарь-чернокнижник, супротив Господа умышляющий.

– Скоро весна, дороги размокнут, – повторил Выгжа, глядя Матвею прямо в глаза. – Если ехать куда, то поторопиться надо бы.

– Гонимый?

– Гостей не гонят, гостей упрещдают. Болота тут, коль сейчас не уедешь, то до следующих морозов не выберешься, – спокойно ответил Выгжа. – Коня тебе дам, дорогу покажу... не нужно ее запоминать, у тебя, добрый человек, свой путь, у нас свой. Один раз ты уже судьбу повернул, остерегись, другой раз может иначе выйти.

– Завтра уеду. Спасибо за ласку... добрые люди.

Выгжа не обманул, явился засветло, о двуконь. Рыжую кобылу, приведенную чародеем на поводу, явно отдали с того, что не жалко, – старая, хворая, с провисшим брюхом и полинялой, вылезшей шерстью. Ничего, лишь бы добраться до города какого, там Матвей себе коня справит...

– Не дразни судьбу, – повторил Выгжа, – от добра добра не ищут. А крест береги... если жить хочешь.

Не помогло старику Выгже его чародейское солнце. Славно горела языческая деревенька, с четырех концов занялась, полыхнула, раскинулась костром огромным во славу Господню. И пускай болота, пускай десять дней сюда пробирались, потому как дорогу, Выгжей некогда показанную, Матвей подзапамятовал. Он же еще тогда воротиться собирался, но пути да тропы и впрямь развезло, размыло, пришлось зимы ждать. И Матвей ждал, боялся, что съедут язычники, переберутся в иное место, но нет, вон она, деревня.

Выполнил Матвей клятву, Господу данную, изничтожил гнездо поганское, до сих пор уцелевшее... вот и отец Анисий тоже говорит, что дело доброе, богоугодное, только сердце колет нехорошо как-то, и крест солнечный тяжестью на груди. Жжется.

Это не крест, это пламени жар долетает, вон и конь с того пляшет, ушами прыдет да хрипит... на шее пена, белая, как снег.

Снег вокруг, чистый-пречистый, покров Богородицы... особенно если к лесу ближе, чтоб огня не видеть, гарью не дышать, воню тел горящих... полон взяли... десять душ, остальные полегли, кто с оружием, кого дети боярские в горячке посекли, а кого так, за ненадобностью, добили.

У леса спокойнее, тише, не слышно, не видно и душа в близне успокаивается. Матвей спешился, привязал поводья к ветке березы да, наклонившись, зачерпнул снега, чтоб умыться. Полегчало.

И вправду, с чего это он взбудоражился-то? Ладно бы юнцом сопливым был, так ведь всякое доводилось видеть, всяко приходилось творить, и по слову государеву, во порядка установление, и теперь вот во славу Божию.

– Здрав будь, человеце. – Выгжа возник за спиною внезапно. Хоть бы снег под ногою скрипнул, или ветка шелохнулась, птица лесная закричала, или жеребец Матвеев голос подал, хозяина упрещдая. – Что ж ты, человеце, меня не послушал? Зачем вернулся?

– Чтобы веру истинную принести!

– Вера? – Выгжа усмехнулся. – Тут твоя вера.

Он развел руки: глубокая рубленая рана начиналась чуть выше ключицы и тянулась вниз, к брюху, и знакомой сизовой синевой выглядывала требуха, но только выглядывала,

не падала, не валилась на снег дымящуюся кучей. Не живут с такими ранами, не стоят и уж точно не разговаривают.

– И там твоя вера, – Выгжа указал на догорающую деревню. – А на шее твоя расплата. Негоже подарки отбирать, не по правде это... но всякий дар иным стать может... сам перевернул судьбу, Матвей, значит, так тому и быть...

Матвей перекрестился.

Господи, спаси! Оборони от чернокнижника раба своего, Матвея! Он жить хочет! Жить!

– Будешь... крест носить будешь... и жить будешь... долго, – нараспев произнес Выгжа. – И ты, и дети твои... и внуки, и правнуки... обречены жить... прокляты... от солнечного креста отказавшись, мертвый получишь... день ото дня... без радости... вода горечью... еда отравой... жизнь клеткою душе беспокойной... мир стороною... мимо все, мимо... ради чего стоило б дышать... смерть едино прощением... Мара свой крест заберет... на волю отпустит.

Слова и кровь летели на снег, и не отвести взгляд, и не закричать, и не ударить ведьмака, чтоб замолчал, наконец. Немога сковала тело страхом, ужасом, напевом Выгжиным.

– Умирая, метаться станешь... столько дней, сколько смертей на тебе... а если уйти захочешь, – ведьмак улыбнулся, и с уголков губ поползли вниз багряные струйки. – Отдай крест... подари, спаси чужую жизнь... этот спасенный тебя и убьет...

Выгжа сглотнул. Тяжко ему слова давались, но Матвею еще тяжелее было.

– И род... род твой проклятый тогда... сгинет. Носи крест, Матвей... вы же все под крестом ходите...

Он так и умер, с улыбкой на губах, ведун, ведьмак, чернокнижник проклятый. Позже, когда Матвей самолично голову рубил да кол, загодя заготовленный, в тело вгонял, руки почти и не дрожали. А увидев среди полона Синичку, добычу свою законную, совсем успокоился. Да и то ли дело слуге государеву, человеку крещеному и верующему, чьих-то проклятий бояться?

Господь, Он всяко защитит, Господь убережет... Господь всемогущ и милостив.

Яна

Мой дом – моя крепость. Точнее, тюрьма. Стильная, в черно-белых тонах, с уже немодной хай-тековской мебелью и зеркальной стеной. Когда-то идея показалась удачной: на заднем плане жилые комнаты, обычные и привычные, а на переднем, прикрывая эту привычность, – квартира-студия, искривленное пространство, полное солнечного света и движения.

Так мне обещали и, черт побери, сдержали слово. Вот пространство, вот свет, вот движение: отраженный тополиный пух опускается на пол одновременно по обе стороны стекла, следом, задетая локтем, летит газета, шелестя тонкими страницами, падает бокал с вином... два бокала, там и здесь. И звенят как два, разбивая нервы на осколки. Красная дорожка вырывается на стеклянной же столешнице, и кажется, будто винные капли застыли в воздухе.

Нет, я скоро с ума сойду. Завтра же найму рабочих и уберу к дьяволу стену-зеркало.

Нужно успокоиться, взять себя в руки. Вдох-выдох, вдох-выдох... как Костяка учит. Досчитать до десяти, добраться до «кухонной» зоны, взять тряпку, вернуться, стереть пятно. Проговариваю действия вслух, так немного легче, будто и в самом деле беседуешь с кем-то.

Ничего, еще два часа, и мое затянувшееся одиночество закончится, пусть ненадолго, недели на две или три, но и это уже хорошо. Капли летят на пол, наклоняться и вытирать лень. Завтра среда, и хотя квартиру убирают по вторникам и пятницам... до пятницы как-нибудь и с пятнами на паркете проживу.

Время ползет медленно, и ожидание становится невыносимым, стены давят абстрактным черно-белым узором, смотрю и не понимаю, чего больше – черного или белого – снова начинаю злиться... глоток вина бы, но нельзя.

Данилке может не понравиться, что я пью. Данилка меня, наверное, не помнит... да и я его тоже. Но мне хочется ему понравиться, хоть кому-нибудь понравиться не из-за денег, статуса, работы, не из желания «трахнуть эту суку», а просто по-человечески.

И снова слезы, и снова ничего не могу сделать, сажусь на пол и, прислонившись спиной к бело-черной стене, просто жду, когда они закончатся.

Данилка, наверное, расстроится, увидев заплаканную тетку. Ничего, немного пудры, очки и привычная ложь про аллергию на тополиный пух. Главное, чтобы слез не было.

Не помню, когда это началось. Наверное, давно, но я заметила лишь пару месяцев назад: в руке стакан апельсинового сока, свежавыжатый, ярко-желтый... напроочь лишенный вкуса. И вино такое же, и чай, и кофе, и долбанные тигровые креветки, и истекающий жиром беляш, купленный эксперимента ради. Дистиллированная вода и картон. Правда, иногда у картона появлялся легкий металлический привкус, который вызывал обильное слюноотделение и позывы к тошноте.

Дисгевзия¹.

Красивое название для болезни. Меня лечили, я лечилась, а дом все больше походил на тюрьму. Как-то незаметно и безболезненно исчезли запахи, зато появилось несвойственное мне прежде ощущение беспомощности и приступы слез. Слезы напугали, и я подумывала было согласиться на госпитализацию, но два дня назад позвонила Ташка.

– Ян, привет! – знакомый голос в трубке был неестественно весел. – Как дела?

– Нормально, – я вытерла ладонью растекшуюся тушь, и мой двойник в зеркальной стене повторил действие. – А у тебя?

Ташка – моя сестра, старшая и умная, уехавшая когда-то давным-давно в Кисличевск и до сих пор там обитающая. То ли привыкла, то ли и вправду все так хорошо, как она говорит.

¹ Дисгевзия – утрата или извращение восприятия некоторых вкусовых раздражителей (возникает при поражении глубоких отделов височной доли или у психически больных). (Прим. автора.)

Перезваниваемся мы часто, поддерживаем родственные связи да и... и кроме нее да Катьки, я больше ни с кем не могу разговаривать.

– И у меня нормально.

Улыбаюсь своему отражению, помада размазалась, а пудра, вместо того чтобы скрывать морщины, отчего-то их подчеркивает. Похоже на разломы в высохшей земле. Плевать на разломы, нужно продолжить разговор.

– Как Данила?

Данила – Ташкин сын, единственный и горячо любимый. И мой племянник, тоже единственный и тоже любимый, пусть даже видела я его в последний раз лет десять тому, но Ташка присылает фотографии... точнее, присылала.

Странно, я и не заметила, когда перестала получать от нее снимки.

– Данила? – голос у сестры странный, и смешок в трубке тоже странный. – Данила нормально. Хорошо...

Всхлип. Я молчу, прижимая трубку к уху, в душе вялое удивление от того, что Ташка плачет. И такое вялое возражение – показалось. Ташка никогда не плакала, Ташка никогда не жаловалась. Она старше на целых двенадцать лет, она умнее, сильнее и все такое... я почти не помню ее.

Трубка вздохнула и отозвалась Ташкиным голосом.

– Ян, такое дело... можно, Данька к тебе на каникулы приедет?

– Можно, – я сначала ответила, а потом испугалась. Зачем ко мне приезжать? Я не хочу никого видеть, в квартире-тюрьме и без того тесно.

– Спасибо, Ян, ты... ты не представляешь... – Ташка все-таки расплакалась. – Он... он хороший мальчик, он просто случайно попал... втянули... он не виноват...

– Неприятности?

– Д-да... нет, уже нет. Я просто хочу, чтобы он уехал из города, хотя бы на пару недель, а там придумаю... ты извини, просто больше не к кому... я не знаю, почему он стал таким, я ведь все ему давала, я ведь никогда ни в чем... переходный возраст... – Она продолжала оправдываться, всхлипывая, проглатывая слова и фразы, я же молча кивала в такт словам, думая, что, может, не так и плохо, если в квартире кто-то поселится. Кто-нибудь, с кем можно будет разговаривать.

И за два дня так свыклась с этой мыслью, что теперь, сидя на полу, томилась ожиданием. Я так устала от одиночества, от стерильного мира, от черно-белой или, может, бело-черной квартиры-тюрьмы.

Данила

Достало. Кто бы знал, как же его все это достало: жара, поезд, который то разгонялся так, что начинал вибрировать, будто вот-вот развалится, то еле-еле полз. Голоса пассажиров, визгливые, истеричные, готовые вот-вот сорваться на крик... и мамка достала. Придумала тоже: «к тетке в Москву».

Данила скорчил рожу своему отражению в грязном стекле. За стеклом проносилась березовая роща, бело-зеленая, солнечная, и отражение вышло смешным, бело-желто-зеленым. Данила еще и язык высунуть хотел, но потом передумал. Несерьезно.

– Чай будешь? – поинтересовалась проходившая мимо проводница. На Данилу она глядела с интересом и брезгливостью. Дура. Все бабы дуры, кроме Гейни, та понимает, и красивая к тому же. Дождется?

Вряд ли. Гейни сказала, что он слабак и маменькин сынок, а еще трус, и по-хорошему Данилу за такие штучки следовало бы вообще исключить из клуба.

– Так будешь чай?

– Отвянь. – Данила повернулся к окну, лучше уж на рощу глядеть, чем на эти тела в пропотевшей за два дня дороги форме. И уже чуть тише, чтобы тетка не услышала, повторил: – Дура.

Вот Ярик теперь точно не упустит момент, он давно к Гейни неровно дышит, значит, стопудово воспользуется и Даниловым позором, и Даниловым отсутствием. Гейни, конечно, посопротивляется для виду, недолго, день или два, а потом все равно даст. У Ярика хата почти своя и предки классные, в душу не лезут, а как надо стало – моментом отмазали. И небось не сослали потом «к тетке».

Запоздало захотелось чаю, но Данила решил, что к проводнице не пойдет, вот назло будет сидеть без ее гребаного чая. Тем более что ехать осталось часа два. Он лег, заложил руки за голову и закинул ногу за ногу, специально, чтоб проводница, возвращаясь назад, увидела, что он в обуви лежит, вот прямо на постельном белье, и в обуви. Прицепится, тогда Данила и выскажется от души.

Проводница прошла мимо, сделала вид, будто не замечает. Как есть дура.

И мать дура. Надо было хлопнуть дверью и из дому денька на два, на хате потусовался бы с Яриком и Гейни или в клубе, а по возвращении мамаша небось и думать забыла бы про дурацкую поездку. Данила так и собирался сделать – на кой ему эта Москва и тетка – но Ратмир дал задание. И какое задание... вроде ничего сложного, но ведь не Ярику доверие, не Гейни, никому другому из клуба, а ему, Даниле.

Правда, плохо, что Ратмир запретил про задание трепаться (можно подумать, Данила сам не сообразил бы помалкивать) да и прилюдное внушение сделал якобы за трусость. Конечно, понятно, что он конспирацию соблюдал, но Гейни-то поверила... и обзывалась... и точно с Яриком перепихнется, пока Данила будет в Москве.

Снова стало тоскливо. Только когда Данила постановил, что, вернувшись, первым делом начистит Ярику рыло, – полегчало немного. А за выполненное задание Ратмир даст десятника, тогда и Гейни станет смотреть иначе... хотя, конечно, стерва она... но все равно красивая. И умная.

Данила перевернулся на живот и достал из рюкзака заветный сверток. Что внутри, он не знал – Ратмир запретил распаковывать, только сказал, что бояться нечего, не наркотики. А Данила и не боялся, ну разве что опасался немного, самую малость.

Сверток небольшой, с ладонь, бумага коричневая, плотная, такой на почте бандероли оборачивают, перевязана бечевкой, а на ней печать восковая. За два дня дороги Данила

извелся, гадая, что внутри, даже хотел было печать снять – а чего тут, ножом подковырнуть, а потом спичкой снизу воск подплавить и назад прилепить. Но удержался.

Под бумагой что-то мягкое, вроде тряпок, а в них – твердое, но маленькое, потому как по краям свертка твердое не прощупывалось. Посылку следовало доставить по адресу. Его Ратмир не позволил записать, заставив выучить наизусть и, отбыв положенные две недели у тетки, вернуться домой.

Спрятав сверток на дно рюкзака, Данила подумал, что если станет-таки десятником (а Ратмир обещал), то не дело будет за Гейни бегать... пусть лучше наоборот, она за ним. Пострадает, походит следом, попросится назад, а Данила еще подумает, принимать или нет.

Конечно, примет. Гейни красивая, самая красивая в клубе. И умная.

А Ярик – козел.

Тетка ждала на платформе. Она была такой... такой... ну совсем не такой, как положено быть теткам. Данила, конечно, видел фотографии, но думал – выпендривается, сейчас на компе из любой мымы красотку сделают. А она и вправду оказалась отпадная. Высокая, на голову выше его, хотя и Данила не маленький – почти метр восемьдесят. И худая, как те модели из журналов, и одета, как они, а волосы стянуты в узел на затылке. Историчка тоже так носит, и весь класс ржет над этой прической, а вот над теткой смеяться отчего-то не тянет.

– Ты, что ли, Данила? – голос хриплый, будто простыла.

– Я.

Внимательный взгляд – пусть у тетки на носу темные очки, но даже сквозь зеркальное стекло этот взгляд ощущается. Неприятно. И Данила решил, что если она думает, будто он тут на цырлах бегать станет из благодарности, то черта с два!

Он вообще в Москву не просился, ему и дома хорошо.

– Пошли, что ли, – сказала тетка. – Меня Яной зовут. Просто Яна, без отчества.

– Не хватало еще с отчеством, – Данила поправил рюкзак. Интересно, какая у нее тачка... у таких всегда тачки крутые. И мобила... может, если попросить, то и ему новый прикупит, а то с этим уже ходить неприлично.

Стыдно стало за свои мысли. Ничего ему от нее не надо, даже если предлагать станет – Данила откажется. Он гордый.

А тачка супер – «аудюха» спортивная, низкая, красная, блестящая... охренеть.

Руслан

Парень лежал ничком. Черная майка, задравшаяся вверх, полоска белой кожи, до того плотно облегающей позвонки, что, казалось, можно разглядеть каждую ямку, старый шрам, широкий кожаный ремень, камуфляжные штаны, берцы... лужа крови.

– Еще один? – Гаврик обходил труп, стараясь лишний раз не глядеть в его сторону. – И снова из этих?

Риторические вопросы, что первый, что второй, скорее всего, Гаврик таким нехитрым образом пытается успокоиться, заглушить словами кислый рвотный привкус во рту, да и стыд приглушить. Хотя чего тут стыдиться, от подобного зрелища любого наизнанку вывернет.

– Эй, командир, ты не молчи, да? Угости сигареткой?

Руки Гаврика дрожали. А у табачного дыма был тот же отвратительный кисловатый привкус, от которого Руслан пытался избавиться. Уж лучше бы и вправду вывернуло.

– Таки две недели прошло, – Гаврик держал сигарету двумя пальцами, как бы защищая от несуществующего дождя. – Две недели и два трупа.

– Больше.

– Чего больше?

– Шестнадцать дней, а трупов всего четыре, – Руслан оперся спиной на стену, делать на пустыре пока нечего, но и уезжать рановато, тело не переворачивали, кто знает, вдруг повезет, отыщется что-нибудь полезное.

Простреленный череп и клеймо. Красные линии ожогов, свежие даже на Русланов неопытный взгляд, складывались в знакомом уже рисунке.

– Точно наш, – вздохнул Гаврик, будто прощаясь с последней надеждой избавиться от находки. Не выйдет, их клиент, и крест на плече – лучшее тому доказательство. Рисунок стилизованный, но довольно-таки четкий, узнаваемый и странный. Похоже на крест с равными поперечными и продольными перекладинами, и те не ровные, изгибаются, будто собираясь свернуться в спираль.

А мертвый мальчишка сжимал тетрадный лист, крепко сжимал – Русу пришлось приложить усилия, чтобы разжать сведенные судорогой пальцы. Прикасаться к телу не хотелось, но Светин попросил, точнее, сказал, что если Руслану так интересно, чего у пацана в кулаке, то пускай сам кулак и разжимает или ждет, пока до морга доведут и вскрывать станут.

Ждать Руслан не хотел, потому и раздирал холодные пальцы, пинцетом вытягивая бумажный комок, и тем же пинцетом расправлял, стараясь не порвать, не повредить. А Светин рядом бурчал что-то про спешку и нарушение процедуры... плевать на бурчание, как тут не поспешишь, если у этого ублюдка периоды сокращаются.

Первый труп обнаружили в начале апреля. Первое тепло и последние заморозки. По краям оврага трава, неправдоподобно яркая, не запыленная, не пережженная солнцем, и молоденькие березки с только-только проклюнувшимися листочками, а внизу, словно нарочно, чтобы подчеркнуть сочную яркость весенней зелени, желтая глина. Спускаться неудобно, глина мокрая, едет под ногами, и на склонах оврага остаются длинные полосы, точно шрамы.

Тогда еще не знали, что труп первый, тогда просто злились из-за тела, из-за того, что приходится тащить все это тошнотворное добро вверх, потому как спустить машину вниз никак невозможно. А тащить – значит прикасаться, пусть даже через плотный полиэтилен мешка... и понятно, что дело мертвое, как этот пацан, ведь прошло недели три. Весенние недели, полные дождей и тающего снега, отполировавшего глиняные стены оврага до блестящей желтизны. Нет улики. Нет свидетелей. Есть только труп. И криминальный, потому что дыры в черепах сами не появляются, и клейма на груди тоже. Дело повисло мертвым грузом, установить личность парня не удалось, а больше зацепиться не за что.

Тогда клеймо с убийством не связывали, от него вообще мало что осталось, от клейма.

А потом обнаружили второго. Тоже лесополоса, но не светлый березняк, а сумрачный, чуть диковатый ельник, неизвестно каким образом уцелевший на окраине мегаполиса. Несмотря на середину мая, там было прохладно и темно даже в полдень, и Светин снова матерился, требовал то посветить, то, наоборот, убрать фонарь и не затапывать место преступления. Затапывать там было совершенно нечего, плотный слой желтовато-рыжих прошлогодних иголок да зеленые пятна мха. И труп.

Камуфляжные штаны, майка-борцовка, берцы, бритый череп с дырой в виске и свивающийся в спираль крест на левом плече. А шестнадцать дней назад в подвале заброшенного дома обнаружили третий труп, тоже с клеймом и пулей в голове.

Баллистическая экспертиза подтвердила, что все три пули были выпущены из одного оружия.

Довольно редкого по нынешним временам оружия. «Наган», предположительно бельгийского образца, но возможно, что и российского производства конца девятнадцатого – начала двадцатого века. И это уже было странно, а заключение судмедэкспертизы, которое Руслан прочел четыре раза, чтобы убедиться – не примерещилось, – только добавило странностей. То, что стреляли в упор или почти в упор, он и без экспертизы понял, но вот то, что потерпевшие, судя по всему, сами нажимали на спусковой крючок, стало открытием.

Трое самоубийц, клейменных крестом?

И пропавший револьвер системы братьев Наган образца начала прошлого века?

Черная комедия с оттенком гротеска.

И вот комедия получила продолжение, к трем трупам добавился четвертый.

Быстро. И страшно. И странно, что газетчики до сих пор не пронюхали. А что, тема актуальная: серийный маньяк убивает неонацистов...

Скомканный лист все никак не желал расправляться, норовя выскользнуть из рук, да и пинцет оказался инструментом не самым удобным. Когда же наконец лист развернулся, внутри оказалось всего два слова.

«...мертвый крест...»

– И что это значит? – Гаврик глядел на ксерокопию найденной у мертвеца бумажки с невыразимым отвращением. Руслан не ответил, он и сам слабо понимал, что означает эта надпись. – И почему мертвый? И на крест не похоже, ни на православный, ни на католический. Может, секта какая-то? Тогда понятно, почему за этих взялись.

Вот что умел Гаврик, так это озвучивать накопившиеся вопросы.

Ну еще кофе варить, правда, с вопросами все равно получалось лучше. И сейчас тоже. Почему «за этих»? У жертв много общего, начиная с клейма на плече и заканчивая страстью к камуфляжу. Нацисты, неонацисты, националисты – Руслан особой разницы не усматривал и не то чтобы ненавидел, скорее не понимал подобных взглядов. Молодые и агрессивные ребята. Энергичные. Уже имевшие столкновения с законом, но избежавшие настоящих проблем благодаря деньгам родителей и адвокатам. Мертвые.

И если Руслан что-нибудь понимал, то это лишь начало.

Год 1928. Дыбчин

Надоело, если бы кто знал, до чего же все надоело... Серость вокруг, грязь, мещанские попытки приукрасить кривые идеалы высокими словами... и бедность, бедность, неприглядная, непристойная.

Какая свобода, какое равенство?.. Французская зараза всколыхнула русскую муть, подымая со дна то самое, укрытое, глубинное дерьмо, которое отчего-то привыкли считать «русским духом». В ком дух, в гуляющих девках? В пьющих матросах? В солдатах, позабывших о присяге и чести? Или в таких, как я, предателях поневоле?

Во мне ничего не осталось, пустота, непонимание и желание поскорей уйти, избавившись от необходимости созерцать эту вселенскую агонию.

Самоубийство – грех, так меня учили в церкви, но церкви горят, рушатся, будто бесы революции, вырвавшись на волю, норовят первым делом избавиться от знака Божьего. Но что ж Он терпит? Отчего молчит, не снизойдет, не остановит всеобщее безумие?

Вчера я видел, как взрывали церковь, деловито, буднично, привычно. Окружили, отогнали тех, у кого хватило смелости вступить, выбили окна, вынесли утварь, сгрузили на подводы. А я стоял в толпе и ждал, когда же Он, Всемогуций, вступится за Свой дом и за ту веру, которая умрет вместе со старым зданием.

Не вступился. Взрыв и слетевшая стена... Три другие держались, но купол оказался чересчур тяжелым, поехал вниз, переворачиваясь, и стены за ним по бревнышку раскатились.

Больно. До того больно, что желание уйти становится невыносимым. Достаяю из ящика револьвер – каждый вечер одно и то же: высыпаю патроны, выбираю один, вставляю в барабан, кручу... американская рулетка, гусарская игра, моя последняя попытка договориться с Богом.

Я продолжаю существовать. Более того, днем боюсь смерти, выхожу из комнат по редкой надобности, к примеру, чтоб заложить в ломбарде, чудом сохранившемся на углу Старокупеческой – а ныне Революционной – улицы, очередную безделушку. Серебряные кольца для салфеток, серебряные ложечки, сервиз. Сущие копейки, быстро обесценившиеся к тому же: матушкина брошь, отцовский брегет.

Днем распродаю то, что осталось от прошлой жизни, а вечерами, мучаясь от стыда, играю в американскую рулетку.

Дуло к виску, взведенный курок, и палец чуть дрожит, того и гляди соскользнет.

Зачем я выжил? Многие погибли, друзья и родные... многие уехали, когда еще дозволено было бежать, многие просто исчезли в революционной круговерти. А я жив.

Господи, если Ты есть, дай же знак...

Нажать на спусковой крючок, медленно, до последнего оттягивая момент выбора... щелчок. Сухой и строгий. Снова пусто, снова мимо, и на вопрос мой нет ответа.

Если Ты есть, зачем держишь меня в этом мире, Господи?

Если Тебя нет, отчего я до сих пор жив?

Отцовский крест слабо греет грудь. Дышать становится чуть легче... а продуктов почти не осталось, завтра придется заложить портсигар. Серебро и тонкая восточная чеканка... хорошо, если четверть цены удастся сторговать.

Стук в дверь – вынужденная вежливость. После того как я заехал в челюсть одному «пролетарию», повадившемуся заглядывать в мою каморку без спросу, обитатели сего странного дома стали относиться ко мне с некоторым уважением. Вернее было бы сказать про страх, но эти грязные, случайно дорвавшиеся до власти существа не видят разницы между тем и другим, а мне приятнее думать, что меня уважают.

– Эй, товарищ, открывай, – сильный голос, в котором странным образом сочеталась почительность и злость, принадлежал нашему домоуправу, типу ничемному и раздражающему. Мечтает избавиться от «недобитой контры», и, если я прав в своих прогнозах, у него неплохие шансы исполнить желание.

Открываю. Мне неприятно беседовать с этим человеком, однако же порядок есть порядок.

– Спал, значит? – Домоуправ грозно хмурится. – Днем?

Не считаю нужным отвечать на этот вопрос, равно же объяснять что-либо. А домоуправ не считает нужным здороваться либо же просить разрешения зайти. Протискивается боком. То ли пес, то ли свинья. Воняет от него презрительно: перегаром, чесноком, немытым телом... пожалуй, собаки почище будут.

– Сергей Аполлоныч, значит, Корлычев, значит... живешь тут, значит... в двух комнатах...

Не знаю, чем приглянулось нашему домоуправу слово «значит», но использовал он его едва ли не чаще, чем все иные слова, вместе взятые.

– Че молчишь? К-контра... – про контру говорит тихо и отступает чуток, видимо, опасается. Не зря опасается. Домоуправ раздражает меня неимоверно, полагаю, оттого, что является зримым воплощением нынешнего мира – запаришившим, спивающимся, по-мещански нахрапистым и бесцеремонно навязывающим собственные кривые идеалы.

– Вот, значит, уплотнять будем, – он осклабился. – Согласно решению комитета жильцов!

Он вытащил из кармана какую-то грязную бумаженцию.

– Зря, значит, на собрания-то не ходишь.

Может, и зря, но вряд ли мое присутствие помешало бы комитету вынести постановление. Постановления они выносить любят и предложения выдвигать, вот только исполнять их отчего-то некому, оттого на улицах грязь и выходить из дома противно... да что там из дома, когда я и из комнат своих – всего-то две после очередного уплотнения остались – выглядывать опасуюсь. Превратили квартиру в вертеп, дубовым паркетом печь топили, мебель изломали, картины попортили, портьеры на платья пустили... лучше не вспоминать.

– Жаловаться, значит, станете? – поспешил поинтересоваться домоуправ.

Не стану. Никогда не умел этого делать и теперь не буду. Унижаться перед кем-нибудь, вроде Михала Степаныча, бывшего Мишки-истопника, а ныне уважаемого исключительно в силу пролетарского происхождения да врожденной же нахрапистости домоуправа? Уж лучше пулю в висок.

Не выходит, который день кряду не выходит, а просто взять и застрелиться духу не хватает.

– Значит, не будешь... и хорошо, и ладненько, в тесноте, но, как говорится... прошли времена, когда одним все, а другим ничего... тепериче всем и поровну... а ты не молчи, не молчи, не будь бирюком. Две у тебя комнаты, так? Жены нет, дитев нет, и родичей нет... а зачем тебе одному столько-то?

Домоуправ подошел слишком близко, и я почти задохнулся в чесночно-самогонной вони.

– Так это ж по справедливости будет, значит, ежели Ксана в твоей комнате жить станет. – Михал Степаныч провел рукой по усам, заулыбался с чего-то и, хитро прищурившись, потряс пальцем: – Не забижай мне девку, охфицер.

Не стану. Если повезет, я уйду, сегодня, ровно в девять. Револьвер в ящике стола, темные дыры в барабане, один патрон и шальная мысль, что если вставить два, то шансы избавиться от этой жизни возрастут.

А еще лучше – семь, ровно по числу пустых ячеек в барабане. Дуло к виску, взведенный курок и никаких вопросов, никаких сомнений...

– Эй, контра, ты чего? Совсем головою двинулся... недобиток контуженый. Эй, эй... руки убери! Ты че, убери... я ж так... спросил только... – Надо же, разом исчезла всякая наглость, и вид у домуправа стал виноватым, точно у побитой собаки, однако же не верю... врет. Стоит отпустить – отползет, уберется с моей территории, заляжет в ожидании момента, когда можно вцепиться уже не в руку, а в горло.

И дождется ведь...

– Отпусти, Сергей... Христа ради, – мокрые ладони Михала Степаныча вцепились в руки. Христа ради? А нету больше Христа, и Бога нету, ничего нету. Сегодня и меня не станет, так зачем же брать на душу еще и этот грех?

Я отпустил его, точнее, выволок за шиворот и вытолкнул за дверь. На часах без четверти девять. Зажечь еще одну свечу – не хочу умирать в темноте – и, достав револьвер, зарядить. Хватит игр, хватит вопросов. Семь ячеек, семь патронов, по привычке раскрутить барабан, остановить – и к виску... ну же, одно последнее движение, и все.

Не хватило духу.

Я, оказывается, еще и трус.

Яна

– Отстойный музон, ты че, взаправду такую хрень слушаешь? – поинтересовался Данила, но, даже спрашивая, в мою сторону не глянул. И к лучшему, в последнее время прямые взгляды меня раздражают.

– Не, я серьезно, отстой же!

Может, и отстой, большей частью мне все равно, что слушать, музыка – скорее повод, чтобы завязать разговор. А вот о чем говорить с этим странным подростком, я не представляла совершенно.

Бритый череп, бугорки и впадины, чуть прикрытые короткой темной щетиной, сквозь которую просвечивает розовая кожа, и дико хочется потрогать, погладить, но мальчишке вряд ли понравится.

Ему вообще здесь не нравится. Данила и не пытался скрыть свое недовольство, морщил лоб, хмурил редкие рыжие брови и выпячивал подбородок. Ему не шло гримасничать, и свободные штаны цвета хаки не шли, и черная майка с растянутым горлом и темными пятнами пота на груди, и высокие, тяжелые на вид ботинки, название которых упрямо ускользало из моей памяти.

Не люблю некрасивых вещей, а эти просто отвратительны. Впрочем, мое мнение – лишь мое мнение. Как и музыка. Что хочу, то и слушаю. Раздражение вспыхнуло неожиданно, острое, резкое, с все тем же ненавистным металлическим привкусом и легким жжением в глазах. Только бы не заплакать, только бы не заплакать...

– Полная туфта, – повторил Данила. – Клаассика... типа.

И скрипка неповторимой Ванессы заиграла иначе, тише, резче, будто обиженно.

Кажется. Всего лишь кажется. И слезы на глазах выступили, и дорога впереди утратила четкость не потому, что я вот-вот заплачу, а из-за очков. Стекла слишком темные, завтра же поменяю.

А плакать нельзя.

Слушать музыку, ловить звуки, пока я не потеряла способность различать их, и не поддаваться на провокацию незнакомого и неприятного мальчишки, который называется моим племянником. Предполагаемое родство оказалось пресным и невыразительным, равно как и моя любовь. Один взгляд, одно слово, и все вернулось на круги своя – Данила чужой и далекий. Он не будет разговаривать со мной, – ни вежливости ради – как я заметила, вежливость совершенно ему не свойственна, ни из родственных чувств, ни просто так, чтобы поболтать.

Музыка ему отстой.

Сам он отстой! Провинциальный подросток, изо всех сил пытающийся казаться круче, чем есть на самом деле.

– Не, а тебе и вправду в кайф это слушать? – Данила все-таки соизволил повернуться ко мне. – Уши режет.

Скрипичное барокко сменилось готикой «Эры»... Племянник, скривившись – надо же, и «Атепо» ему не по вкусу, – потянулся к магнитоле и получил по руке. Я никому не разрешаю трогать мои вещи.

Я никому не разрешаю вмешиваться в мою жизнь.

Даже в таких пустяках, как музыка.

– Дура, – пробормотал Данила.

А ведь он нервничает, как я сразу не заметила: нарочито-небрежная поза диссонирует с напряженным взглядом, а глаза, как у Ташки или у меня, – синие, на редкость чистого оттенка, без толики серого цвета.

– Че уставилась?

Ничего. Просто смотрю, вернее, присматриваюсь.

В квартиру Данила зашел с гордо поднятой головой, настолько гордо, что споткнулся о порог и едва не упал. Я сделала вид, будто не заметила ни этого, ни того, что он прошел в обуви, оставляя грязные следы на блестящем паркете. И рюкзак свой невообразимый швырнул на белый диван, и сам плюхнулся.

Невоспитанный мальчишка. Нахальный.

Смешной.

– Ништяк, – сказал Данила. – У тебя бабла до фига?

– Мне хватает, – интересно, сказать ему, чтобы изъяснялся нормально, или не стоит?

– А поделиться впадлу? – он дотянулся до стола, взял из вазы яблоко и, вытерев о брюки, откусил. – Не, ну в натуре, на кой тебе столько? Нам бы помогла.

– А вам надо?

Он так аппетитно жевал это чертово яблоко, чавкал – как понимаю, нарочно, чтобы позлить меня, – что мне тоже захотелось.

У яблока был вкус картона.

Данила

Яблоко было кислым и твердым, а толстая зеленая кожура застряла между зубов. Выковыривать пальцами Данила постеснялся. А вообще хата крутая, комнат в пять, а то и больше, смешно, что мамаша их трехкомнатной гордится, обои новые, ламинат, стеклопакеты... вот у тетки – это да, это евролюкс, такой Данила только в журналах и видел.

Интересно, джакузи тут есть? Жутко хотелось спросить или лучше полежать. Ярик ездил в аквапарк и рассказывал, что джакузи – это супер.

Яблоко не доедалось, стало поперек горла, обожгло кислотой, а оставалась еще половина. Выкинуть? Жалко. Тут, правда, полная ваза таких, да и невкусное попало, но все равно жалко. И что дальше делать – непонятно.

Тетка смотрит в упор и молчит. Странная какая-то. Данила ждал, что, увидев его, она разорется или мораль читать начнет, а она равнодушно так глянула и велела в машину садиться. И всю дорогу молчала, даже когда он нарочно про музыку гнать стал, типа туфта.

Не, ну туфта, конечно, но не конченная, потом даже по приколу стало слушать.

– Так надо вам помогать? – повторила вопрос тетка, усаживаясь в кресло. И ведь тоже не разулась, туфли на ногах стильные, какие-то такие, что вроде и просто все, а видно, что стоят бешеных бабок. Тут все стоит бешеных бабок, и Данила не без внутреннего удовлетворения положил обгрызенное яблоко на белую кожу дивана.

– А че, впадлу? Подкинула б денжат... или вообще в Москву забрала, – сказал и замер. Сейчас точно разорется. А она улыбнулась.

– Впадлу? Нет. Не впадлу. Я предлагала.

А мамаша, значит, отказалась. Ну да, мамаша гордая, она денег не возьмет. Отправляя его сюда, все мозги проела, чтоб тетку не напрягал. А он и не напрягает, он вообще в любой момент может уйти. Только непонятно, с чего мамаша круглыми сутками бьется со своим магазином, который – каждому ясно – еле-еле жив и в любой день сдохнет, потому как магазинов вокруг полно, а ту хренотень, которую мать выставляет, на каждом углу продают, и дешевле. А она, дура, все мечтает бизнес развернуть.

– А у вас проблемы с деньгами? Сколько надо? Извини, наверное, я плохая родственница, если сама никогда не...

– Да не, ништяк. – Все-таки с теткой лучше пока не ссориться. Да и прикольная она.

Мать говорит, что нет такого слова – «прикольная». Слова нет, а тетка есть.

– Хочешь, завтра по магазинам прошвырнемся? – предложила она. – Мобильный, плеер? Одежда?

Ее тон, слова, взгляд, который пробивался даже сквозь туманное стекло очков... да она что, думает, он – нищий? Приехал тут за ее счет жить? Да если б не Ратмир, Даниловой ноги в Москве б не было. И пусть подавится своими шмотками, ни черта ему не надо.

– Иди ты... без тебя обойдусь.

Вот без чего пришлось обойтись, так это без завтрака. Данила проснулся поздно. Квартира встретила пустотой и тишиной. Черно-белые стены, холодный паркет, холодная и неуютная мебель. Дома иначе, дома ковер на полу и еще один на стене, и просыпаться тепло, привычно. И завтрак мамка оставляет, так, чтобы в микроволновку сунуть да разогреть. А тут пусто. Холодильник работает, но зачем, когда на полках, кроме сока, ничего.

Холодный сок был горьким, а окружающая обстановка действовала на нервы. Чересчур уж много пространства, и света тоже много, и зеркало это на всю стену. Жуть.

Зато тетка оставила ключи и деньги. Это круто. Это значит, что до нужного места можно будет добраться на такси. Ратмир не запрещал.

Руслан

– Да запрещала я ему, запрещала! – женщина вытерла глаза платком. – А он все равно... вот чего надо-то? Всегда все было, всегда ему... лишь бы хорошо, лишь бы порадовать, а он...

Красные глаза, опухшие веки с мелкой сеткой морщин, слипшиеся ресницы и бледные крылья носа. Некрасива, беспомощна в своем горе, прикрытом чернотой траура.

– И ведь с девки этой все началось, других будто мало, а он на нее... школу бросил. Я за ремень, а он в ответ, будто и не мать ему... а у меня дед воевал... а сын, выходит, что...

Она зарыдала во весь голос, подвивая и захлебываясь. Руслан плеснул в стакан воды и сунул в дрожащую руку. Женщина пила мелкими глотками, долго, будто боялась расстаться со спасительным стаканом. Ох и не любил Рус подобные беседы, было в них нечто утонченно-инквизиторское, выворачивающее наизнанку чужую душу. Потом приходилось отмыться, отбиваться, убеждать себя, что все это было нужно и важно...

– Он спортом увлекался, но тоже бросил. Тренер ходил, ходил, уговаривал вернуться, а Сережка ни в какую, говорит, тренер – еврей. А я не знаю, может, и еврей, так какая разница-то? Ведь нормально ж было, а тут... – она вздохнула. – Будто и не мой сын. Говорит, нерусские все заплонили, дышать нечем... а потом у меня еще кошелек украли. Рублей триста внутри было-то, но все равно обидно. А Сережка как разорался, на всю ночь из дома ушел. Позвонили из милиции, дескать, громили они что-то...

Ларьки громили, это Руслан мог сказать, исходя из материалов дела. Последняя жертва, клейменная крестом, была личностью активной. Сергей Изовский привлекался трижды, но всякий раз его отпускали за недоказанностью.

– Я думала, все, сядет теперь, а он вернулся, поцеловал и говорит, дескать, скоро все иначе станет, нерусских из города выбьют. Я ему – Сереженька, как же выгонят, как можно так, а он мне – мол, глупая, не понимаешь своего счастья... и тварь эту притащил.

– Какую тварь, Елизавета Антоновна?

– Эту, собаку... здоровая такая, сверху черная, а брюхо рыжее. Я породу забыла, он говорил, а я забыла... я ее боялась, – женщина перестала плакать. – Я просила убрать, а он только смеялся. Он на ней деньги зарабатывал... мясом сырым кормил... Чтоб злее была. А куда злее, когда я и так из комнаты выйти боялась? Рычала она и один раз укусила, до крови. Швы накладывали, вот.

Елизавета Антоновна задрала подол длинной черной юбки и вытянула ногу. Нога была белой, отекающей, с россыпью сине-зеленых застарелых синяков и старым шрамом.

– Это она меня порвала, Церка, а Сереженька и сказал, что сама виновата... полезла. А я не лезла, я в туалет пройти хотела, а эта зверюга поперек порога разлеглась...

Руслан кивал, Руслан устал от этого чужого горя, от рассказа, Руслан хотел домой, а нужно было слушать. И искать психа, пока где-нибудь не всплыл пятый труп.

– А той ночью она выла. Никогда не выла, а тут села у двери и давай выводить, – продолжила Елизавета Антоновна. – Аккурат когда Сереженьку убили. Почуяла. До утра. Соседи и по батарее стучали, и в дверь, я ей – Церка, место, замолчи, а она рывкнет и снова выть.

– И что теперь с собакой?

– Собакой? – заплаканные глаза глядели непонимающе. – При чем тут собака? Вы убийцу ищите, Сереженька, он ведь хорошим мальчиком был... он мне всегда помогал... и соседям тоже... это девка его с ума свела. Да и собаку забрала... та послушалась, меня не слушалась, а эту сразу, с полуслова... чтоб две суки и не договорились?

Одну суку звали Церерой, вторую – Эльзой. Они и вправду понимали друг друга с полуслова.

– Гуляй, – велела Эльза, спуская доберманиху с поводка, та радостно унеслась вперед, вернулась, глянула на Руслана кофейным глазом и рывкнула. Так, на всякий случай.

– Из милиции, значит... вы и вправду думаете, будто я его убила? – У Эльзы серые глаза, ясные, чистые, кукольные. И волосы кукольные – белые, уложенные ровными локонами. Да и вся она какая-то... фарфоровая, что ли. – Мамаша у него психованная. Впрочем, Серега и сам был не подарком. А отношения у нас с ним сугубо деловые. У меня своя ветеринарная клиника. Ну и... наверное, все равно узнаете... занимаюсь собачьими боями. Площадки организую, пары составляю, веду рейтинг. Ставки опять же...

– Незаконно.

– Откровенно, – возразила Эльза. Идет ей имя, и ведь настоящее же, Руслан паспорт проверил – Эльза Петровна Тукшина. – Не настолько незаконно, как убийство. Серега не из наших, он новичок, пришелец, желающий самоутвердиться, и собаку искал такую, чтобы разом в дамки.

Церера носилась по площадке, время от времени останавливаясь, проверяя, как там дела у подруги, не обижают ли.

– И вы сосватали...

– Сосватала. Продала, если быть точнее. Церу года полтора назад сильно порвали, бой из черных, я такими не занимаюсь, стараюсь, чтобы соперники были примерно равны, интереснее ведь. А тут выставили... не знаю даже, против кого, но привезли ее ко мне в ужасном состоянии, попросили усыпить.

– А вы вылечили?

– Вылечила. Опять же, ничего личного и благородного, бизнес. Церера – из перспективных, если не бои, то с ее родословной на щенках заработать можно, был клиент на разведение взять, но Серега дал больше.

– И как, окупилось?

– Без понятия. Если где и участвовал, то не через меня, хотя пара свежих шрамов на шкуре есть. Но вы не там ищите, из-за собаки никто не станет убивать... да и из-за боев тоже. – Эльза похлопала поводком по бедру, и псина моментально оказалась рядом, села на землю, уставилась прямо в глаза, улыбнулась, вывалив на подбородок розовый язык.

– А ставки серьезные? – в присутствии Цереры Руслан ощущал себя крайне неудобно. Не то чтобы боялся, скорее не нравились ему вот такие хищные да поджарые – ни женщины, ни собаки.

А еще Эльза с ее кукольно-фарфоровой красотой. Уж очень спокойна, прямо-таки неестественно.

– Ставки? Когда как, но в любом случае всегда проще убрать собаку, чем человека, правда?

Она объявилась с самого утра. Перетянутый веревкой чемодан, грязный узел, в котором то ли приданое, то ли добро награбленное. И запах кислой капусты. Не знаю, за что больше я возненавидел ее – за грязь или за эту вонь, что становилась неотъемлемой частью нового мира.

Капусту жарили, капусту тушили, капустой закусывали самогон, капуста гнила в фарфоровых тарелках матушкиного сервиза на двадцать четыре персоны... капустный дух преследовал меня повсюду, стоило выйти за дверь. И вот теперь он поселится здесь, вместе с этой девицей, которая мнетя на пороге, пыхтит под тяжестью овчинного тулупа и разглядывает меня с каким-то детским любопытством.

– Эта... Аксана я... Ксана. – Она вытерла пот со лба. – Дядько казал, что тута жить буду.

Дядька? Теперь понятно, до того понятно, что даже злости нет.

Ничего нет. Я ушел, оставив Оксану наедине с ее позитками. Все, большие отступать некуда, в оставшейся, вернее, милосердно оставленной победившей чернью комнате одно окно, под самым потолком. Стекло серое, пыльное, и свет, проникающий сквозь него, режет глаза белизной. Лечь на кровать, зажмуриться, вспомнить о том, как все было раньше... а еще лучшие – забыть.

Воспоминания причиняют боль.

А я трус, не смог, не сумел... куражу не хватило, чтобы совсем без шансов. Снова один патрон, холод дула у виска, легкая дрожь в руке...

Стук в дверь почти как выстрел, ударил по нервам, выбивая из колеи размышлений.

Оксана вошла, не дожидаясь разрешения, застыла на пороге и с любопытством огляделась.

– Чего надо? – я и не пытался быть дружелюбным, я страстно желал остаться в одиночестве, среди гнусных беспомощных мыслей и еще более гнусных – действий, на которые я оказался не способен.

– Так... снестать. Уважьте, Сергей Аполлоныч. – И, густо покраснев, Оксана добавила: – Дядько казав за вами приглядывать.

Я не знаю, почему принял ее предложение. Девушка по-прежнему была неприятна своей нарочитой, почти навязчивой простотой. Толстые косы, перевязанные какими-то серыми шинурками, латаная застиранная до серости блуза, длинная, в пол, юбка и синие-синие глаза. Вот, пожалуй, единственное, что несколько примиряло меня с существованием Оксаны – ее глаза, совершенно необыкновенного глубокого цвета и яркости.

– Вы кушайте, кушайте, – она спрятала руки под столом. – Вы болеете, да? А чем?

Тоской. Нежеланием жить и неспособностью умереть. Разочарованием. Презрением к миру и самому себе, вот только поймет ли Оксана?

Но я рассказал, я пытался рассказать, я путался в словах и собственных мыслях, стыдясь подобной откровенности и вместе с тем опасаясь, что Оксана отвернется и благодарная, потерянная синева ее глаз исчезнет.

А она слушала, подперев щеку рукой – ногти придавили кожу, коса, соскользнув с плеча, темной змеей легла на грудь, и до жутки вдруг захотелось прикоснуться.

– Ох и странно вы говорите, и вроде правильно все, а неправильно. Вы лучше кушайте, вот хлеба, и творожок домашний, сама делала... а вы воевали, значит? А супротив кого?

Ее наивность удивляла, ее наивность задавала такие вопросы, на которые у меня не было ответа. Против кого я воевал? Не знаю, я стоял под знаменами Великой Империи, я дал присягу, я был ей верен... потом оказалось, что верность моя не имеет значения, не дает шанса выжить.

Ничего, выжил как-то, вернулся, понял, что лучше бы сдох где-нибудь в окопе, или в лазарете, или когда город переходил из рук в руки, горел, гремел выстрелами, тонул в крови и экспроприации, которой прикрывали обычные грабежи... и кажется, была еще одна война, Гражданская, безумная, прокатившаяся по стране и чудесным образом минувшая меня.

Большевики, меньшевики, денисовцы, колчаковцы... имена вспыхивали, имена исчезали, а я продолжал существовать. Советский Союз, страна для народа... власть пролетариата, рабочие и крестьяне вместе, а я снова где-то вовне.

Экспроприация, уплотнение, две комнаты... уже одна... и денег почти не осталось, за портсигар копейки выручил.

– Ох и бедовый вы человек, – сказала Оксана. – Видать, крепко вас Бог любит, ежели от всего уберег.

Бог? Любит? Меня?

Бога больше нет, умер Бог вместе с разрушенными церквями, вместе со сброшенными наземь крестами, вместе с моей верой, и крест на груди – не более чем символ. И то не христианский.

– Конечно, любит, – заявила Оксана, – иначе, пошто ему вас хранить-то?

Позже, сидя у окна, наблюдая, как медленно гаснет солнечный свет, я думал о том, что, возможно, эта девочка права. Она необразованна, диковата, глуповата, но не может ли оказаться так, что именно эта полуживотная близость к природе позволяет ей ощущать нечто, недоступное мне?

Сумерки наплзали медленно, степенно, синевато-сиреневые, прозрачные, летние. И в открытое окно проникала не ставшая уже привычной вонь, а чистый запах цветущего жасмина. Лето... уже лето... а весну я пропустил.

Сегодняшним вечером револьвер остался в ящике стола. Редкий день, когда хотелось жить.

Яна

– Ой, да не правда это! Чтоб у нашей мымры родственники были? Таких в лабораториях выращивают! – Сонечкин голос проникал сквозь приоткрытую дверь. И я замерла.

Никогда прежде не подслушивала, а тут...

– И вдруг к ней племянник приезжает! – Театральная пауза, скрип отодвигаемого стула, цокот каблучков по полу. Как гвозди в голову... нужно будет заказать ковровлин. И звукоизоляции. Но потом, сначала стоит дослушать.

– Вот увидите, девочки, никакой он ей не племянник...

– А кто? – поинтересовалась Ольга, у нее хоть голос приятный, мягкий, не то что Сонечкино повизгивание.

– Ой, Оль, ну ты наивная... когда такая мадама после трехнедельного отсутствия заявляется на работу и первым делом поручает закупить мужской одежды... – Снова каблучки зацокали, заработал принтер, будто желая заглушить Сонечкины откровения, но тонкий голосок настырно пробивался сквозь помехи: – Любовника завела, подцепила в «Кошечке» или еще где... рост метр семьдесят восемь... будьте добры подобрать что-нибудь на свой вкус.

Меня она передразнила не слишком удачно. Минус ей за это. И себе тоже, теперь понятно, что нужно было самой заехать в магазин и купить все, что надо, а не поручать секретаршам. Да еще про племянника сказала. Тогда вроде как к слову пришлось, теперь выходит, будто я таким нехитрым способом любовника легализовала.

Данила – мой любовник... привести, что ли, пускай поглядят, успокоятся.

Или, наоборот, получают новую информацию для сплетен. Посплетничать здесь любят, особенно в рабочее время, особенно обо мне... дверь, чуть скрипнув, открылась.

– Ой, Яна Антоновна? А вы тут? – по Сонечкиной мордашке расплывался румянец. – С... с выздоровлением вас.

– А я не болела. Я отдыхала, – оттеснив Сонечку, я зашла в кабинет. Так и есть, кружки с кофе, торт, печенье...

– Мы вот тут... – Ольга беспомощно развела руками. – М-может, чаю?

– Лучше кофе. Без сахара.

К чему мне кофе? И чем он лучше чая? И без сахара попросила скорее по привычке, вкуса ведь не почувствую.

Дистиллированная вода, горячая и лишенная привычного аромата... когда-то я любила свежесваренный кофе именно за этот дурманящий аромат. И вкус с легким шоколадным оттенком, который долго держится во рту.

Девушки молчат. Удивлены. Почти шокированы. Наверняка пойдут слухи, что молодой любовник благотворно повлиял на мой характер, а кто-нибудь непременно добавит, что, дескать, вся стервозность – от неудовлетворенности.

Думать неприятно. Молчать тоже неприятно. Кофе стремительно остывает, и нужно что-то сказать.

– Данила – действительно мой племянник. Ему пятнадцать лет. И он нацист.

Нацист. Бритоголовый. Скин. Слов много, а суть одна. Милый мальчик Данила на поверку оказался не таким уж милым, да и слово «мальчик», пожалуй, к нему не подходило.

К нему вообще сложно подобрать подходящие слова: колючий, раздражающе-непонятный. Вот, пожалуй, и все. Поэтому вместо слов я решила найти одежду, что-нибудь приличное вместо застиранно-зеленого убожества, в котором он приехал. Но, заехав в магазин, поняла, что не имею ни малейшего понятия о том, что носят подростки.

Я, в принципе, имею слабое понятие о подростках. Я даже сама не догадалась бы, что Данила – нацист, точнее, со временем, конечно, догадалась бы, но Ташка успела раньше.

Ташка объяснила. Ташка извинилась. Ташка рассказала правду... Ташка испугалась, что, узнай я раньше о Даниловых проблемах, отказалась бы принять его. Она сказала – «откажешь в доме», старомодно, вежливо и противно. Да и сама беседа вышла какой-то скомканной, приправленной оправданиями, Ташкиным лепетом и собственным чувством вины.

– Это возраст переходный... – Ташка раз в десятый повторяла и про возраст, и про компанию, и про то, что на самом деле Данила совсем не такой, добрый.

Не знаю, как насчет доброты, но проблемы с милицией у племянника наличествовали: разбойное нападение, нанесение тяжких телесных повреждений и обещание родственников пострадавшего «разобраться».

Не знаю, на что надеялась Ташка, отсылая ко мне Данилу, что он в Москве поумнеет, позабудет про своих бритоголовых друзей-приятелей. А тем временем родственники избитого успокоятся?.. Факт остается фактом. В моей квартире поселился агрессивный подросток с весьма радикальными взглядами на мироустройство и активным, как я понимаю, желанием это мироустройство поправить.

На мироустройство мне глубоко плевать, лишь бы квартиру не разрушил.

Пакеты с одеждой занимали поразительно много места, а я, вместо того чтобы принять изрядно подзапущенные дела, думала о том, обрадуется он или нет.

Не обрадовался. Точнее, его вообще не было в квартире.

На часах половина седьмого, а его нет. Господи, какая же я дура! Денег оставила, ключи... сбежал? Не удивлюсь, если сбежал... а Ташке что теперь сказать?

И что делать?

Данила

Что делать, Данила не представлял. Нет, поначалу все было клево и круто: вызвать такси и, съехав вниз по перилам – а че, прикольно, здоровые и каменные, по таким кататься почти что как с горки, – кивнуть тетке, сидевшей в прозрачной стеклянной будке. Лицо у той вытянулось, видать, не привыкла к таким вот жильцам, но сказать ему ничего не сказала.

Во дворе всюду светило солнце.

И жарило, особенно в машине, тачка попалась без кондишена, а еще в пробке застряли, вроде и не сказать, чтоб надолго, но Данила едва не задохнулся в горячем, воняющем бензином салоне. Из машины он почти вывалился и потом еще минут десять стоял, прислонившись спиной к здоровому тополю, пытаясь отдышаться и остыть. С дерева облетал пух, от которого моментально засвербило в носу.

Не, не его сегодня день, стопудово. Даже мелькнула трусливая мысль вернуться – обратно, в покой и прохладу, но поворачивать назад, когда до цели оставалось всего два шага, Данила не собирался.

Вот и нужный подъезд, во всяком случае, если там и вправду квартиры со сто тридцатой по двести какую-то там. Дверь железная, тяжелая, кодовый замок выломан, внутри темно и здорово воняет, а лифт испорчен. Пришлось подыматься аж на седьмой этаж и долго давить на кнопку звонка.

Дверь открыла тетка, толстая, неопрятная, недовольная.

– А... пришел... еще один. – От тетки здорово несло перегаром и немытым телом, и Данила отступил на шаг, он бы вообще сбежал, но Ратмир велел...

– Ты заходи, заходи... – тетка вяло махнула рукой. – Раз пришел... помянем.

Заходить совершенно не хотелось, как и разговаривать с этой полувменяемой бабой, которая так нализалась с утра. Пьяных баб Данила ненавидел, потому как не только дуры, но и уродки.

– Мне бы Сергея.

– Сергеееея... всем Сергея. А нету его... никого нету... но ты заходи, фашистик, помянем.

Пришлось зайти. Данила по-прежнему не хотел, но все равно пришлось, потому что если Сергея нет, то задание выполнить невозможно, значит, придется докладывать Ратмиру о неудаче, а тот жуть как не любит неудач и неудачников, потребует объяснить, рассказать...

– Вот я и говорю, хороший был мальчик... раньше бы в пионеры приняли, в комсомол, а теперь вот в фашисты. – Тетка достала из холодильника полупустую бутылку водки, синеватый, подвысохший огурец, нарезанное сало и пучок зеленого луку.

Пить Данила не хотел. Не умел, но как сказать об этом, не знал.

– Сиди, сиди, я сама. – Она ловко разлила водку, Даниле – в крохотную стопку, себе в стакан. – Ну, чтоб земля ему пухом... Сереженьке моему.

Водка горькая, желудок сжался, а рот наполнился едкой слюной.

– Хлебом закусывай, хлебом, – велела Елизавета Антоновна. Свой стакан она выпила в два глотка и, занюхав черной коркой, крикнула. – Давай, фашистик, не стесняйся, за Сереженьку не грех выпить... а с теми грехами, что на вас, так и вообще святая обязанность.

– А что с ним случилось?

– Убили. Убивают ваших... и тебя убьют... всех убьют... а я в церкви свечку поставила, за упокой души... и за тебя, фашистик, поставлю... ты мне только имя скажи.

– Не сказал, надеюсь? – Ратмир злился, недовольство пробивалось сквозь легкий туман, который поселился в голове, и спазмы желудка, требовавшего срочно избавиться от водки.

– Н-не сказал, – язык заплетался, и Даниле подумалось, что теперь старший точно догадается о том, в каком он, Данила, состоянии.

– Убили, говоришь... и как давно? Два дня? Странно, очень странно. Ладно, ты возвращайся к тетке своей, сиди тихо и веди себя прилично, не хватает еще, чтобы тебя раньше времени из дому выперли.

Данила хотел сказать, что он и сам все понимает, и даже рот открыл, и рыгнул.

– Пьяный, что ли? – с нескрываемой брезгливостью поинтересовался Ратмир.

– Н-нет. Я д-домой... к т-тетке. Н-на т-такси.

– Потеряешь посылку, убью. И не только тебя, слышишь, мальчик?

– Я н-не п-потеряю, – пообещал Данила и на всякий случай снял рюкзак с плеча: если держать обеими руками, то надежнее выйдет. И не пьяный он, почти не пьяный... три стопки – это святое, так сказала мать убитого Сергея.

Правда, Данила не был уверен, что стопок было всего три. Но если погулять, недолго, всего пару минут, в голове прояснится...

Спустя полчаса Данила понял, что идея с прогулкой была не самой удачной. Время перевалило за полдень, город нагрелся, травил бензиновой гарью, пылью, вонью раскаленного асфальта. Хотелось пить и блевать, причем одновременно, от банки ледяной колы стало только хуже, и Данила, завернув в какой-то сквер, где редкие деревья обещали хоть какое-то подобие прохлады, упал на лавку.

Немного посидеть, передохнуть, и к тетке... а в тени хорошо, глаза закрыть... ненадолго, всего на минутку. Ну почему в Москве так жарко... а в теткиной машине климат-контроль.

– Эй ты, бритый, – тычок в плечо вывел из полудремы. – Че расселся?

– А че, нельзя? – Данила поднялся, голова еще немного кружилась, в висках пульсировала боль, но зато тошнота прошла.

– Борзый типа?

– Типа да.

Пятеро. Главный – здоровяк, почти на голову выше Данилы, да и в плечах пошире будет. Если б еще один, то Данила б справился, но остальные...

Будут бить. Надо было сразу к тетке ехать...

– Слышь ты, борзый, – качок ухмыльнулся, – а мы тут типа скинов не любим.

Данила ударил первым, кулаком в переносицу, чтобы в кровь и больно, чтобы не убить, но вывести из боя... так учил Ратмир. И второму в солнечное сплетение... и третьему ногой по голени... и все-таки день сегодня был не Данилин. Достали, сволочи... в живот, да так, что воздух весь вышел, а перед глазами кровавые круги поплыли. Больно.

А отдышаться не позволили, сшибли на землю и пинали... сжаться в комок и не дышать... не скулить... терпеть... у сильного человека дух владеет телом, а не наоборот... Данила сильный.

Но телу так больно.

И страшно.

И сил терпеть почти не осталось.

– Эй вы! Что творите! – голос долетел издалека. – Пошли отсюда! Бегом, кому сказал...

И ведь послушались, ушли. И сознание тоже. Без сознания хорошо, боли нет.

Руслан

– Нет никаких сомнений, что с собачьими боями дело не связано, – Гурцев постучал ручкой по поверхности стола. – Искать надо в другом направлении.

Ну да, в другом, знать бы еще в каком. Но насчет боев Руслан не то чтобы не согласен... Он бы все-таки проверил остальных потерпевших, благо личности установлены – ну, кроме того, первого самого. Круг общения тоже; правда, до сего дня никто из свидетелей о собаках или собачьих боях не упоминал, но ведь никто целенаправленно и не интересовался.

– Рус, ты меня вообще слушаешь? – Гурцев набылся. Вот же мнительный тип! Чуть что, сразу с претензиями, дескать, оперативники работают плохо. – Про клеймо выяснить надо, я со спецом договорился, съездишь, потолкуешь... хороший человек, говорят, знающий, только вчера с конференции вернулся. Ну?

Руслан пожал плечами. Потолковать он потолкует, да сомневается, что «знающий человек» скажет что-либо новое. Обращались уже, не к этому, к другим, да бесполезно, все в один голос твердят, что не существует такого символа. И не существовало.

– Кто вам такое сказал? Символ креста столь же древен, как история человечества. Да почти во всех цивилизациях встречаем крест в той или иной интерпретации, – Ефим Петрович Кармовцев специальной тряпочкой протер очки. Стекла темные, а оправка, наоборот, белая, стильная, тонкая. – Конечно, учитывая специфичность рисунка... некоторая нечеткость... вот здесь хотелось бы более детализированно. А самой печати... символа, как понимаю, у вас нет?

– Нет.

– Плохо.

Плохо. Руслан и сам знал, что плохо. Печати нет, а значит, что скоро появится еще один труп с клеймом. Мертвый крест на мертвом человеке.

Ефим Петрович развернул рисунок.

– Пока могу сказать лишь, что это, строго говоря, не совсем крест, скорее свастика...

– Свастика? – Это вполне увязывалось с нацистами, но вот только Руслан совершенно четко знал, как выглядит свастика. Кармовцев, уловив сомнение собеседника, поспешил пояснить:

– Вы просто привыкли к слову. И к тому, что под свастикой подразумевается именно нацистский символ. Хотя «нацистской» является лишь разновидность, у которой лучи стоят под углом в 45°, а их концы загнуты вправо. И называть этот знак желательно «Hakenkreuz». Само же понятие «свастика» намного шире, объединяет фигуры, образующиеся за счет поворота равного элемента – угла или крюка – вокруг оси, которая расположена перпендикулярно плоскости вращения. Исходя из центральной точки, лучи свастики могут не только загигаться под любым углом, но и плавно виться, как у вашей фигуры, и даже ветвиться в зависимости от смысла, заложенного в символе. Иногда трудно провести грань между собственно свастикой и так называемыми «солярными знаками».

Руслан с трудом подавил зевок. Голос у Кармовцева был мягкий, хорошо поставленный, заметно, что человек привык выступать, пусть даже аудитория ограничена одним слушателем.

– Вообще, интересный случай, хотя, конечно, учитывая современное происхождение печати, велика вероятность того, что символы эти вообще не несут смысловой нагрузки.

– Как так?

– Обыкновенно. Выбрали то, что смотрится красиво. Бывает, – Кармовцев достал из ящика стола круглую лупу на длинной ручке. – Возьмем, к примеру, вас. Вижу на шее крестик. Вы христианин?

– В какой-то мере.

– Значит, нет. Ни один настоящий христианин не станет говорить о такой важной вещи, как вера, «в какой-то мере». Вы носите крест, потому что принято. Возможно, чей-то подарок, супруги, матери... в данном случае первоначальное значение символа креста подменяется другим, личностным, известным лишь вам. Дальше... ваша майка.

– И что с ней не так? – Руслан тихо закипал, стоило переться сюда через весь город, чтобы слушать чьи-то отстраненные размышления.

– Рисунок, – Ефим Петрович подслеповато прищурился, выходит, и вправду близко, а поначалу Руслан решил, что очки Кармовцев носит солидности ради, уж больно молодой. – Вверху руна «тотен» – знак смерти... прямо под ней – «вольфсангель» или «волчий крюк», который защищает от происков темных сил и дает власть над оборотнями, а рядышком «опфер» – самопожертвование. Видите, набор знаков случаен, и носите вы их не потому, что заявляете о готовности жертвовать собой или ожидании грядущей смерти, а потому, что рисунок приглянулся. В современном мире с поразительной небрежностью относятся к символам и символическим... Но мы, кажется, отвлеклись, итак, если допустить, что выбор не случаен, картина вырисовывается прелюбопытная.

Кармовцев склонился над рисунком, а Руслан пожалел, что не захватил фотографий, все-таки пусть даже художник и старался перенести изображение в точности, но кто знает, вдруг ненароком что-то да упустил. С другой стороны, не известно, как отреагировал бы Ефим Петрович, предъявив ему Руслан не картинку, а фотографию клейма, все ж таки ученые – народ нежный.

– Не утомляя вас подробностями, скажу лишь, что в настоящее время выделено около четырехсот свастических символов, которые достаточно грубо можно разделить на две половины, или два вида. Первый – с концами, загнутыми справа налево, это так называемая свертывающаяся или собирающая свастика. И в противоположность ей – развертывающаяся или сеющая, с которой, собственно говоря, и имеем дело мы. – Кармовцев откинулся на спинку кресла и, выдвинув ящик стола, достал плоскую фляжку. Потряс, прислушался, отвинтил пробку и сделал большой глоток. – Лекарство, знаете ли... должен вот принимать.

Руслан кивнул, хотя коньячный запах довольно резко ввинтился в пыльную полудрему кабинета. Лекарство... хотелось бы знать, чем Кармовцев болен. Тем временем тот, вернув фляжку на место, продолжил.

– Архетип свастики воспроизводится на всех этапах мироздания. К слову, в ходе наблюдений за миграцией клеток и клеточных пластов зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. А комбинация потоков так называемого «солнечного ветра» формирует в его приэкваториальном пространстве структуру, напоминающую пропеллер, то есть ту же свастику.

– И что? – пусть даже эта лекция и была интересной, но пользы от нее Руслан пока не видел. Кармовцев вздохнул.

– Не спешите. У символов имеется история, долгая и, вероятно, не слишком вам интересная, но я полагаю, что раз вы пришли сюда с этим, – он поднял рисунок, – то дело довольно серьезно. Поэтому я изложу то, что знаю, а вы сами решайте, что из сказанного имеет значение. Если же вы полагаете, что пришли зря, то не смею задерживать.

У Ефима Петровича покраснели уши и кончик носа, должно быть, от раздражения.

– Извините. Просто у вас сейчас такое... характерное выражение лица, а я не люблю тратить время впустую, ни свое, ни чужое.

– Это вы меня извините. – Руслану стало немного стыдно, человек старается, пытается помочь... правда, толку пока никакого, но кто знает, а вдруг все-таки повезет. – Дело действительно очень серьезное.

Кармовцев кивнул, водрузил очки на нос, отчего приобрел вид несколько потешный, и продолжил рассказ:

– Если опустить глобальные соображения, то у славян подобную спиралевидную или змеевидную свастику использовало западнобалтское племя куршей и скалвы, народы Нижнего Приамурья. Вообще данный символ в славянстве часто связывают с ветром либо солнцем, с его кругообразным движением. Солнце – колесо, которое вертится, катается по небу, раскидывает лучи и собирает их вновь. Похоже?

Руслан не знал. Он вообще уже запутался во всем этом.

– Применительно к материальному миру свастика не просто солярный, или солнечный, знак, а символ подчиненности Солнца и четырех стихий высшей духовной силе. С приходом христианства главным символом становится крест, но свастика не исчезает. – Ефим Петрович потер переносицу, Руслан же молчал, ожидая продолжения. Диктофон захватить надо было, зря на память понадеялся. – Однако ее уже не было принято носить открыто, как здесь, ее включали в орнаменты, украшающие вещи, от прялок до наличников и киотов. До двадцатого века. Даже сейчас в традиционных вышивках встречаем свастику... но это не тот случай.

В открытое окно кабинета влетел комок белого тополиного пуха и, на мгновение зависнув в воздухе, опустился на темную обложку фолианта. Руслан моргнул, стоня сонливостью, слушать надо, внимательно слушать, а то и вправду выйдет, что зря съездил.

– Но судя по тому, что эта печать самостоятельна, так сказать выделена, вычленена из контекста орнамента, то смею предположить, она создавалась в качестве талисмана, амулета, призванного снискать милость богов. Но опять же, это имеет смысл, если создавался знак осознанно, то есть человек, его использующий, имеет представление о сути, заключенной в форме.

– И что за суть? – сонливость не исчезала. Поскорее бы выбраться отсюда, на воздух, подальше от занудного лектора.

– А суть зависит от многого. Свастика развертывающаяся... с одной стороны, возвращаясь к сказанному ранее, означает сеяние, дарение чего-то. С другой – если это отпечаток, то зеркальный, следовательно, мы имеем дело с процессом прямо противоположным, то есть жатвой.

– Убийство можно считать жатвой?

– Вероятно, да. Ваш крест... сантиметров десять в диаметре... изгибы плавные... жаль, рисунок нечеткий, не просматривается рельеф лопастей... вот здесь, то ли буквы, то ли дополнительный орнамент. А это важно, очень важно... все-таки не могли бы вы предоставить фотографии... возможно, изучив их, я мог бы сказать что-то более конкретное.

– Фотографии, как вам сказать... боюсь, зрелище не из приятных.

– Зато более четкие. Сам отпечаток... полагаю, на коже?

Руслан кивнул.

– Понятно. Следов ограничивающей плоскости не наблюдается, значит, не барельефное изображение, не печать, скорее всего, имеет размер, пригодный для ношения, скажем, как тот же ваш крестик. Металл?..

Руслан снова кивнул.

– Провести химический анализ, полагаю, невозможно, а жаль... можно было бы приурочить к определенной эпохе, тогда уже судить о значении символа.

Руслан подавил раздражение, по всему поезду выходила удручающе бесполезной, впрочем, многого он и не ожидал. Но чтобы настолько... Кармовцев, видно, понял.

– Жаль, что я ничем не сумел помочь, но поймите, знаков креста огромное множество, просто взять и определить, к чему он относится, где его использовали, невозможно. Я попробую поискать, но фотографии бы...

– Передам, – Руслан решил, что с фотографиями отправит Гаврика, еще одной встречи с Ефимом Петровичем, еще одной лекции просто не выдержит. – Не знаю, поможет вам или нет, но есть предположение, что это – мертвый крест.

– Мертвый? – Кармовцев удивился. – Как вы сказали? Мертвый крест? Но здесь же идет движение, дающее или отбирающее, не важно. Само движение уже противоположно смерти. Странно... конечно, конечно, вероятно, совпадение, но мне кажется, что я слышал о подобном... интересно. Знаете, я должен кое-что проверить, не хочу ничего обещать, но если это все-таки не совпадение... но, знаете, все-таки пришлите лучше фотографии. И чтобы качество было нормальное.

Не любовь – наваждение, болезнь надежды, отчаянный страх ошибиться и желание жить. Сейчас, каждую минуту, каждый день, пусть даже здесь, в грязи и хамстве, в осколках старого мира, но лишь бы еще немного.

Я не понимаю происходящего со мной, но понимание уже и не нужно. И Бог не нужен, и правда, которой я так добивался, и вопросы под дулом револьвера, что так и остались без ответа, и сам револьвер. Утро начинается с рассвета и Оксаниного приглашения к завтраку, день заканчивается сумерками, синими, как ее глаза...

Она некрасива, круглое лицо с грубыми чертами, чересчур густые, сросшиеся на переносице брови, чересчур крупные губы, чересчур мелкий подбородок, чересчур короткая шея... чересчур много «чересчур», но мне нравилось наблюдать за ней, мне нравилось слушать ее голос и украдкой ловить взгляд.

– А молока нету, и мяса, говорят, не будет, а хлеб давать будут, но тем, кто работает... – В ее глазах вопрос и беспокойство. Ну да, я же не работаю, значит, карточки на хлеб не выдадут. Не так давно я лишь пожал бы плечами – плевать на карточки и на работу, – но теперь вдруг откуда-то возникает смутное беспокойство.

Я хочу жить.

Я пойду искать работу, не знаю еще где и кем, но, наверное, найду: в городе осталось не так много молодых и здоровых мужчин, я заранее согласен на все, лишь бы еще немного времени, еще немного жизни, еще немного этих глаз.

...Странно, но с работой сладилось быстро. В прошлой своей жизни я бы с негодованием отверг саму мысль о том, чтобы устроиться санитаром в местном госпитале. Оксана обрадовалась, не знаю, чему больше: тому, что мне удалось найти работу, либо же тому, что это такое «хорошее место». Я искренне не мог понять, чем же хорош госпиталь, полуразоренный, частью сожженный, провонявший кровью и еще чем-то едим, назойливым, несовместимым с самим понятием жизни.

Но Оксане я верил, радовался ее радости и впервые подумал, что, вероятно, она не так уж и некрасива, просто красота ее непривычна... недоступна. Мы жили, разделенные тонкой стеной, она взялась опекать меня, кормить, стирать, иногда убираться в моей камере, она внимательно выслушивала мои длинные исповеди и монологи-размышления. Она была чем-то непонятным и вместе с тем совершенно уместным, вписавшимся в мое существование, более того, ставшим его неотъемлемой частью.

Другой такой частью стал госпиталь, но если Оксану я почти любил, то работу свою ненавидел, искренне, горячо понимая, что ненависть эта не способна ничего изменить. Каждое утро ранний подъем, утренний туалет – холодная вода, вонючее дегтярное мыло, прогулка по дремлющему городу. Иду нарочито медленно, оттягивая момент, когда из-за поворота выплывет серое здание моей добровольной тюрьмы. Ступеньки, разломанные, покрытые трещинами и грязью, убирать которую некому, скрипучая дверь и темный коридор, в котором обитает боль.

Я не врач, более того, мои познания в медицине столь скудны, что я, вероятно, не должен судить и уж тем более осуждать людей куда более сведущих, но...

Но каждый день видеть боль, каждый день видеть смерть, каждый день ощущать собственную беспомощность и равнодушие тех, кому, по моему сугубо частному мнению, ни в коем случае невозможно было оставаться равнодушными к происходящему. А они пребывали

в некоем странном оцепенении, которого я не понимал. Люди умирали, ежедневно, ежечасно, в муках, в боли, в страхе... люди просили о помощи.

– Ну как, как я им помогу, дорогой вы мой? – Федор Николаевич подслеповато щурился, носовым платком протирая очки. – Вы же сами все видите, элементарнейшего нет! Мыла, чтобы бинты стирать! А если даже мыло в дефиците, то что уж говорить о лекарствах?

Федор Николаевич вздыхает.

– Видите, – он протягивает очки, тонкая оправа разломана, стекло покрывает сеть мелких трещин, – какая незадача вчера приключилась... пытался в комитете договориться, чтобы нам паек подняли, а они мне... выражались непотребно, я, признаться, несколько вспылил, позволил себе ответить, и вот что получилось. Где теперь новые очки взять-то? А без очков я слеп... и ведь всего-то попросил, что пайки увеличить, нельзя ж больных одним хлебом... сахар нужен, мясо... лекарства, а они...

В светло-серых тускловатых глазах Федора Николаевича искренняя печаль и недоумение.

– А сегодня, знаете, подумалось, что, вероятно, кому-то надо, чтобы вот так, в грязи да боли, чтобы через смерть и кровь... чудище Молоха сжирает самое себя, и те, кто умирают здесь, и те, кто еще умрут во имя новой власти, – суть жертвы сему божеству.

Федор Николаевич присел на край стола – стульев в госпитале давно уже не осталось, – и, водрузив очки на нос, пожаловался:

– Ничегошеньки не видно. Однако же, убивая меня, либо вас, либо еще кого из тех, кто по воле Господней или попуцением Его уцелели, они, люди нового мира, убивают и этот самый мир.

– И какое отношение сия философия имеет к госпиталю? – я чересчур резок, Федор Николаевич – человек тонкого душевого склада, единственный, пожалуй, кто еще не полностью ушел в омут туповато-равнодушного существования, по привычке именуемого жизнью. Именно поэтому я и решился на беседу, ни на что особо не надеясь – я здраво оценивал происходящее, – но и устав от собственного бессилия.

– Отношение? Прямое, любезный Сергей Аполлонович, самое что ни на есть прямое. Я не желаю участвовать в сем безумии. Зачем? Чего ради? Поставить на ноги десяток-другой из тех, кто способен выжить без медикаментов, сугубо на природной силе организма? А что будут делать они, покинув госпиталь? Благодарить нас с вами за заботу? О нет, они пойдут нести новую веру, утверждаться, мстить за пережитую боль и за то, что недограбили, недовоевали, недоурвали свой кусок. И спросите себя, против кого обернется их «священный гнев»? Не против таких же, как они, нищих уродов, но против нас с вами. Так должен ли я выхаживать собственную смерть? И ладно бы собственную... вспомните Французскую революцию, террор якобинцев и попытайтесь представить сие на российских просторах...

Безусловно, он был прав, милейший и добрейший Федор Николаевич, безусловно, он видел то же, что и я, и любой образованный человек.

– Считаете, что я не прав? Что, давши клятву, я обязан ее держать, лечить всех невзирая на прошлые и будущие преступления? Вы присядьте, Сергей Аполлонович, раз уж выпала подобная беседа, то я с радостью... хочется, знаете ли, поделиться с кем-нибудь своими мыслями, поговорить... а не с кем. Уплотнили... мы с Анечкой в одной комнате, а в остальных... бедняжка, ей безумно тяжело смотреть на то, что эти дикари творят с домом. Опорожняются, извините за грубость, в тазик для умывания... мажут фекалиями двери, чтобы выказать таким образом негодование и нежелание сосуществовать в одном доме с нами. Вечное пьянство, ругань... порой, верите ли, до стрельбы доходит. Я Анечку боюсь оставлять, брал бы с собой, но у нее здоровье слабое, да и здесь не самое лучшее место.

Федор Николаевич улыбнулся, будто извиняясь за излишнюю болтливость, а я впервые за все время общения с этим человеком задумался о том, что у него есть семья. И проблемы с карточками, продуктами, уплотнением, неприятными соседями из «пролетариата».

– Анечка – супруга моя, золотого сердца человек... и душа у нее нежная. Жалеет, говорит, что терпимее быть надобно, ежели случилось так со страной, то, значит, на то воля Божья.

Сидеть на широком подоконнике даже удобно, только вот пыльный он, и стекло тоже пыльное и с трещинами, того и гляди выпадет, осыпется на землю дождем осколков. По ту сторону окна узкий колодец двора, серая тумба постамента, обломки статуи, камни, мусор, тощий пес, свернувшийся грязным клубком, и небо, блеклое, выцветшее, неправильное.

Федор Николаевич молчит, я тоже. Я не знаю, что ответить, ибо прав Харыгин, тысячу раз прав, но в то же время правота его какая-то тяжелая, вымученная.

– Видели, мальчика сегодня привезли, шестнадцать лет, да и то не уверен, что ему и вправду шестнадцать... горькое дитя, а уже комиссар. Кровью истекает, шансов никаких, а вместо того чтобы молиться, думает о мести. Грозился меня под суд отправить... а то и вовсе без суда к стенке. Это же не люди, Сергей Аполлонович, и не звери, потому как даже зверь благодарность имеет, это бесы, демоны... не грех, если такого... если не убивать, но и не спасать.

Я тогда ничего не ответил, вышел, аккуратно прикрыв дверь, хлопнуть не следовало, потому как треснувшее стекло могло не выдержать удара, а на дворе осень, холода скоро.

Яна

Данила объявился в четверть двенадцатого, хватило одного взгляда, чтобы вся злость, которую я собирала, фильтровала, оттачивала и облекала в слова, испарилась.

Господи, куда этот мальчишка успел ввязаться? Лица под черной пленкой запекшейся крови не разглядеть, плечи прямо на глазах расцветали гематомами, ступает тяжело, а рюкзак свой дурацкий за собою волочет.

– Их больше было, иначе... – Данила шмыгнул носом, скривился от боли и опустился на пол.

Проклятый мальчишка, гадкий мальчишка, мальчишка, которого хочется отлупить и пожалеть одновременно.

– «Скорою» не надо, – попросил он. – В милицию заявят... а мне нельзя в милицию.

Нельзя в милицию? Да ему без врача нельзя! А если сотрясение? Или перелом? Или внутреннее кровотечение? Костин телефон, который я всегда помнила наизусть, вдруг сам собой исчез из памяти, пришлось копаться в записной книжке, руки дрожали, страницы склеивались друг с другом, цифрыплыли перед глазами, а пальцы промахивались по кнопкам.

Но я дозвонилась, и Костя приехала.

Правильно говорить – приехал. Константин. Он врач, хирург, причем классный хирург, достаточно классный, чтобы коллеги и пациенты закрывали глаза на некоторые странности, а я... мне и раньше все равно было, и теперь тоже. Костя-он, Костя-она... какая разница, лишь бы помог.

– Жить будет. Вроде бы ничего серьезного, конечно, снимки сделать не мешало бы... вот завтра и привезешь, я как раз дежурю.

– Больно, – пожаловался Данила. Отмытый, со свежими швами на губе и рассеченной брови, он выглядел еще более жутко.

– Конечно, больно, – охотно согласился Константин. – А ты что думал, когда в драку ввязывался?

– Мораль читать будешь?

– Не буду. Значит, так, Ян, завтра ко мне на снимки, если ночью будет тошнить, температура поднимется или вдруг жаловаться станет на головокружение, вызывай. Но, похоже, сотрясения нет, потому как для сотрясения мозга нужно этот самый мозг иметь.

– Придурок, – огрызнулся Данила, отворачиваясь к стене. Обиделся.

– Сам такой, – отозвался Костя. – Ян, а кофейком угостишь?

Кофе я сделала, и Костику, и себе. Над фарфоровыми чашками подымался пар. Запаха нет... вкуса нет...

– Значит, племянник твой? – поинтересовался Костик.

– Племянник.

– Нацист. Или националист. Или еще что-то в этом роде, – он не спрашивал, констатировался факт. Но я кивнула, так, ради поддержания беседы.

– В опасные игры мальчик играет, смотри, как бы и тебе не перепало.

– Боишься, что это заразно? – Кофе в чашке закончился, может, еще сварить... с другой стороны, с тем же успехом могу плеснуть в чашку горячей воды.

А Костик, видать, на свидание собирался, черные джинсы, цветастая рубашка с широким воротом, браслет, цепочка, жилет с меховой опушкой. Забавно смотрится, но и нельзя сказать, что смешно.

– Послушай, Ян, только без обид, – Костик поставил пустую чашку на стол. – Ты не совсем адекватно оцениваешь ситуацию. Да, конечно, он – твой племянник... близкий родственник. После сестры – самый близкий.

– И что?

– А то, что ты – женщина обеспеченная, даже более чем обеспеченная... а мальчик не слепой.

– Намекаешь?

– Прямо говорю. Если не он, то кто-нибудь из тех, с кем он связан, обязательно подумает... придумает, как воспользоваться ситуацией.

– Если со мной что-нибудь случится, то деньги, фирма и прочее барахло достанутся Ташке.

– Где один труп, там и два, – философски заметил Костик. – Ты присмотришься к мальчику, ладно? Просто присмотришься. А еще лучше – отправь его обратно.

Думать про Данилу и его гипотетических друзей в таком разрезе было неприятно, а не думать – невозможно. Костик обладал удивительно неудобным свойством выявлять те проблемы, о которых я прежде и понятия не имела.

Костик уйдет – на свидание ли, домой ли, а я останусь наедине с избитым мальчишкой, которому рано или поздно придет в голову замечательная мысль избавиться от богатой тетки. Паранойя.

Отослать Данилу прочь? Сказать Ташке, что ее сынок доставляет чересчур много проблем? И остаться в привычной пустоте квартиры? Черно-белые стены, зеркало, отраженные движения, а в качестве последнего звена, связывающего меня с миром, – звуки.

– Яна, солнце мое, – Костя, приподняв за подбородок, заглянул в глаза. – Я уже начинаю жалеть, что затронул эту тему, но сама понимаешь, надо... ты только не спеши с выводами, ладно? Возможно, я и вправду преувеличиваю, парень неплохой... заигрался... перерастет. Главное... присматривай за ним, хорошо?

Костик ушел. Данила заснул. А я сидела в кухонной зоне, в пустоте и темноте, глотая безвкусный сигаретный дым.

А и вправду, что будет после того, как я умру?

Данила

Больно. А к утру стало еще больнее. Сон то приходил, то уходил, тогда ушибы ныли, а любое движение вызывало такие приступы боли, что приходилось стискивать зубы, чтоб не застонать. И врач этот... садист чертов, мог бы таблетку какую прописать или укол...

А под утро вообще стошнило. Мамка бы уже заволновалась, забегала, начала бы лоб шупать и причитать, тетка же спала... тетке до Даниловых страданий дела нету. К боли добавилась обида, и Данила решил, что разговаривать с теткой больше не станет. И с врачом ее странным тоже. И вообще ни с кем не станет, разве что с Гейни и Яриком, хоть скотина, но все ж таки друг. И с Ратмиром.

Стоило подумать про Ратмира, как стало еще хуже, в рюкзак Данила не заглядывал, но был уверен – сперли. Деньги же забрали, да и телефон, и рюкзак валялся на тропинке раскрытый, значит, забрали.

Ратмир ругаться станет.

Ратмир больше в жизни ничего не доверит... и из клуба выгонит.

Или убьет.

Вставать было больно, но Данила поднялся. Где рюкзак? Он точно помнил, что в квартиру вернулся с рюкзаком, и тетка еще отобрать пыталась, а он не отдавал. А потом все-таки отдал, значит, рюкзак у нее? Да нет, зачем ей... в квартире где-то.

Включать свет Данила побоялся, еще разбудит Яну, тогда объясняйся... объясняй, что срочно нужно выяснить, потерял он посылку или нет. И если потерял, то самым простым выходом будет веревку на шею и с табуретки вниз... или в ванной закрыться да ножом по венам.

Огромная квартира в зыбком лунном свете выглядела и вовсе необъятной, а на полу тени – ползут, точно живые, пугают. Сердце стучит глухо, и голова кружится, а во рту снова кисло и слюну гонит. Приходится сглатывать часто-часто, и все кажется, что она по подбородку течет, как у психа из киношки.

Жутко в квартире ночью.

И зеркало это на стене, Данила совсем про него забыл, оттого, краем глаза уловив движение, шарахнулся, врезавшись локтем в стену. Охнул от боли, присел на пол и долго сидел, привыкая к этому ночному искривленному зеркалом и луной пространству.

А рюкзак нашелся, тут же, у стены, лежал себе и, не займись Данила поисками, мирно пролежал бы до завтра. Поднять его, затащить в комнату и, закрыв дверь, смело включить свет.

Пакет был на месте, тот же, завернутый в коричневую бумагу, перевязанный бечевкой и закрытый от чужого любопытства восковой печатью. Даже крошечное жирное пятно в левом углу свертка наличествовало – Данила ненароком хватанул грязными руками.

На месте. Значит, завтра Ратмир даст новую инструкцию, Данила отвезет пакет, и все будет хорошо. И, спрятав сверток под матрац, Данила закрыл глаза.

Скорей бы домой вернуться... правда, пускай сначала синяки сойдут... или нет, с синяками даже круче, сказать, что от шпаны отбивался... один от пятерых. И победил. Конечно, победил, пакет ведь на месте.

Утро началось со ссоры, правда, слабой – попробуй поссорься, когда морда опухла и даже языком ворочать тяжело, но и молчать Данила не мог.

Да он скорее сдохнет, чем напялит это шмотье. Он что, мажор какой-нибудь, или хип-парь... или еще какой урод моральный, чтоб в подобных тряпках на люди показываться? Не, джинсы, конечно, отпадные, фирменные, не то что мамаша на рынке у вьетнамцев покупает... Ярику предки похожие прислали, так три дня хвастался, а Ратмир потом ему замечание сделал.

И правильно, сильный человек не должен обращать внимание на навязываемые обществом стереотипы. Необходимо искоренять в себе психологию потребителя.

Данила искоренял, Данила отложил джинсы и напялил штаны, хорошо, запасные есть, а те, вчерашние, в стиралку засунуть, и все путем будет, если порошку побольше сыпануть, то и кровь отстирается. Наверное.

– Дело твое, – только и сказала тетка. – Голова не кружится?

– Нет, – соврал Данила. Ну, почти и не соврал, если голова и кружилась, то самую малость, но скажи – еще в больнице запрут, просто на всякий случай. Даниле же в больницу никак нельзя, ему еще Ратмирово задание выполнять, тот в любой момент позвонить может.

Не может, телефон-то вчера сперли вместе с деньгами! Данила так и замер на пороге, самому звонить надо, и срочно! Немедленно! А как звонить, если в машине уже и тетка из гаража вырывается.

– Что случилось? Плохо? – спросила Яна.

– Телефон... украли вчера. – Стало обидно почти как вчера ночью, и ведь старая модель, некрутая, даже без камеры, а все равно жалко. Теперь вообще как последний лох ходить будет, у мамки фиг новый допросишься.

Зато тетку и просить не пришлось, сама притормозила у салона связи и, не споря, купила ту модель, на которую Данила указал. А он до того растерялся, что ткнул пальцем в первый попавшийся, хорошо хоть не розово-гламурный оказался, было бы позору...

А в больнице управились быстро, видимо, тот вчерашний доктор и вправду в авторитете был, или же тетка снова забашляла, потому как снимки сделали без очереди, да и врач – уже другой, не вчерашний – разговаривал с Данилой вежливо и предупредительно. Но главное, что домой отпустили.

– В драку? Попал? Вчера? – голос Ратмира ввинчивался в ухо, вызывая головную боль. – Ничего лучше придумать не сумел? Я тебе, кажется, ясно сказал, сидеть тихо, не высовываться.

– Они сами, – Данила чувствовал себя отвратно, по всему выходило – подвел. Ну или почти подвел.

– Пакет у тебя?

– Да.

– Точно? Смотри, Дан, потеряешь – голову откручу. И не только тебе... – от этого спокойного делового тона стало совсем плохо. – Просто имей в виду, что если с пакетом что-нибудь случится, то отвечать придется не только тебе. Поэтому постарайся впредь вести себя осторожнее, никаких драк, никаких конфликтов... ни с кем, понятно?

– Да.

– Вот и хорошо. Теперь слушай, завтра-послезавтра отлеживаешься, потом позвонишь вот по этому номеру, записывай...

Данила схватил со стола бумажную салфетку, писать на ней было неудобно, но ничего другого поблизости не было, а Ратмир не любил ждать.

– Он тебе скажет, чего делать дальше... и еще, надеюсь, ты понял, насколько все серьезно?

И хоть по телефону Ратмир не мог его видеть, Данила кивнул. И отражение в зеркальной стене напротив повторило движение.

Все-таки странная у тетки квартира.

Руслан

Квартира производила вид нежилой. Обои на стенах подвыщвели, потемнели, проступили редкими пятнами плесени, газеты на полу пропылились, склеились в причудливый ковер, а оконные стекла потемнели от грязи.

Будто тонированные.

– Ну и ну, – протянул Гаврик, ступая так, чтоб не коснуться стены. – Как можно так жить?

– Так разве ж то жизнь? – философски поинтересовалась хозяйка квартиры. – Че надо?

– Вы Мария Владиславовна Тюркина? – Руслан старался не глядеть в серо-выцветшие глаза. Лицо тоже оптимизма не внушало – рыхловатое, желтоватое, будто растекшийся по жаре воск, с трудом удерживающий вялые очертания и краски. – Виктор Тюркин кем вам приходится?

– Витек? – женщина села на продавленный диван, одернула подол черной юбки и, вяло улыбнувшись, ответила: – Мужем... сдох, скотина? Скажите, что сдох... урод, тварь, ирод поганый... чтоб ему в аду вечности побольше.

Она всхлипнула, смахнула несуществующие слезы ладонью, а глаза вдруг вспыхнули, загорелись яркой живой синевой.

– И давно он?

– Давно, – ответил Гаврик. – Оpoznать не могли... труп поврежден был. В лесу лежал... и нашли не сразу.

– Три родимых пятна на левом запястье с тыльной стороны, если соединить линии, то почти ровный треугольник выходит. Еще шрам на груди, над соском, и передний резец сколот вот тут, – Мария Владиславовна приподняла губу и постучала ногтем по зубу.

Приметы сходились, и Руслан кивнул. Неплохо бы, чтоб свидетельница на опознание согласилась, кажется, она более вменяема, чем показалось с первого взгляда.

– А на фотографии не глянете? – Гаврик раскрыл папку. – Тут не страшно, тут фрагментами...

Мария Владиславовна разглядывала фотографии долго, с непонятным и неприятным вниманием, почти с жадностью, будто хотела запомнить все в мельчайших деталях. Гаврик ждал, и Руслан ждал, хотя ожидание утомляло.

Как можно существовать в подобном болоте? Пыль, рухлядь, запустение... тараканов, и тех, наверное, нету...

– Он это, – женщина вернула снимки. – Сдох-таки... сукин сын... урод моральный... с-собачник.

– Кто?

– Собачник. Доберманов своих выращивал, прямо тут, в квартире. И натаскивал тут, и стравливал... соседи жаловались, а я что сделаю? Ничего. Я ему слово, а он в челюсть сразу... трижды ломал. В милицию – спасите, говорю, а они – в семейные дела не вмешиваемся.

Она закусила восковую губу, и Руслан вдруг испугался, что все, насквозь, воск ведь мягкий.

– Хороший был... раньше... давно... замуж выходила, цветы дарил... потом с работой не получилось, разорился... и собаки вдруг. Грызутся, лают, воют... кусали... его нет, меня да, – Мария Владиславовна сидела ровненько, смотрела куда-то вперед, на выцветше-грязную стену. Ладонь на коленях, слезы по щекам, давняя обида, давняя боль и нынешнее безумие.

Ну не может человек с таким взглядом быть нормальным.

Гаврик, привлекая внимание, ткнул локтем в бок.

– Глянь, – сказал он, указывая на стену.

– Потом Витек сказал, что я сама виновата... и если жаловаться стану, он меня собакам скормит... в клетке запер, в собачьей, на ночь. – Мария Владиславовна вдруг замолчала и, повернувшись в ту сторону, куда указал Гаврик, четко произнесла: – Крест.

– Какой крест? – Руслан уже и сам видел смутные линии, блеклые, как и обои, на которых они были вычерчены. Женщина, опершись рукой на диван, поднялась, тяжело, неуклюже, будто давным-давно разучилась ходить и теперь все вспоминала наново. Она ступала медленно, осторожно нащупывая босой ногой пол, шелестели газеты, а стена по мере приближения хозяйки дома точно проявляла, выталкивала из себя неприязненный знак.

– Это крест, – повторила Мария Владиславовна, проводя ладонью по кривоватым линиям. – Только не тот, на котором Христа распяли, а настоящий... солнышко катится, катится с горы и в темноту падает. И жизнь так, катится, катится, и все... смерть. Хорошо все-таки, что Витек сдох?

Теперь она улыбалась искренне, по-доброму, и тонкие морщины в уголках глаз выглядели живыми и уютными.

– Закатилось солнышко... и боли больше не будет. Совсем.

– Совсем тетка свихнулась, – Гаврик дрожащею рукою выбил сигарету из пачки. – С-солнышко... з-закатилось. А ты видел, как она фотки разглядывала? Ну вообще... слушай, может, это она его? Ну и остальных тоже? Крыша-то явно съехавшая, могла и за нож схватиться.

Могла, с этим Руслан спорить не стал. Но как поверить в то, что невысокой, полноватой, с трудом передвигающейся по квартире женщине хватит физических сил на то, чтобы упрямиться со здоровым и тренированным мужчиной?

– Так знаешь, какие психи сильные? – не унимался Гаврик, управившись с сигаретой, он теперь сражался с зажигалкой, колесико крутилось, сыпались искры, газ выходил с едва слышным шипением, а вот огня не было, и Гаврик нервничал, тряс зажигалку и жевал губами незажженную сигарету. – Да если в приступе этого... аффекта... ухайдокала бы...

Топором по голове, ножом по горлу, поленом, утюгом... но самоубийство, револьвер, клеймо... чересчур сложный ритуал для состояния аффекта.

– И крест на стене, – синий язык пламени, вспыхнув, почти дотянулся до Гавриковых ресниц и светлой, длинной не по уставу челки.

– Твою ж! – Зажигалка полетела в урну, сигарета за нею. – Все, бросаю... нет, ну скажи, что крест почти как наш? Командир, че-то я тебя вообще не узнаю, молчишь, молчишь...

– Зато ты разговорчивый без меры, к профессору нашему сейчас отправишься да крест этот покажешь, авось чего умного и скажет.

Руслан потер ладонями виски, отгоняя головную боль. Да, крест на стене был почти точным отражением того, другого, рисунок которого до сих пор лежал в кармане. Почти... вот только линии-закорючки загибались в противоположную сторону. Наверное, это что-то значит.

Он и вправду был совсем молоденьким, и полагаю, что сомнения Федора Николаевича относительно указанного возраста Никиты имели под собой все основания.

– Б-больно, – он лежал чуть на боку, левой рукой зажимая перебинтованное плечо, правая была вытянута вдоль тела. Бледные тонкие пальцы, лиловые ногти, обкусанные, с черными полосками грязи.

– И пить охота, принеси попить, а? – Никита попытался улыбнуться. – Принеси...

Я принес, немного, полстакана – воду во избежание холеры и дизентерии пытались кипятить, но дров вечно не хватало, оттого приходилось беречь.

Он пил жадно, мелкими глотками, часто облизывая растрескавшиеся губы. Выживет, несмотря на неутешительный прогноз Федора Николаевича, выживет. Ввалившиеся щеки, спутанные волосы, красный румянец лихорадки и горячая ладонь, прикосновение которой было мне неприятно, но при всем этом – дикое, врожденное, вплавленное на уровне инстинкта желание жить.

– Убери! – теперь Никитин голос чуть окреп, достаточно, чтобы прорезались командные ноты. – И возвращайся.

Я вернулся спустя пару часов – в госпитале всегда много работы, а сегодня и день хлопотный выдался – доставили подводу дров, а выяснилось, что разгрузить некому, потому как тот, кому хозяйством больничным надлежит ведать, ушел на собрание, значит, вернется не скоро и навеселе, а кучер держать подводу не станет... и дрова нужны.

– Ты где был? – Никита еще более бледен, чем прежде, и горит весь, а из лекарств у нас... а ничего у нас из лекарств нету. Сушеный липовый цвет? Толокнянка? Кора ивы? Будто бы тут знахари обретаются, а не доктора.

– Где был, спрашиваю. Чего молчишь?

– Дрова разгружал, – не знаю, с чего я решил ответить этому полумертвому злому мальчишке, который имел наглость разговаривать со мной в подобном тоне.

– Дрова? А... – он попытался сесть. – И много?

Я пожал плечами, я не знал, в чем измеряются дрова, и не знал, много ли их приехало. Плечи вот болят, руки тянет и взопрел весь.

– А я скоро уйду отсюда. Встану и уйду... они говорят, что сдохну... сам слышал... такой маленький и в очках... не жилец... а я выживу... выживу...

Никита закрыл глаза, окончательно соскальзывая в бред, губы шевелились, левая рука дергалась, правая же лежала мертвым грузом, только пальцы порой вздрагивали.

– Выживу я, слышишь? Выживу...

– Это вряд ли, – Федор Николаевич был категоричен. – Сами посудите, сутки проваляться в канаве с ножом в груди – уже удивительно, как ему удалось остаться в живых, а добавьте сюда перелом ключицы и плечевой кости, ушибы и тот факт, что на дворе отнюдь не июль, ночи не теплые. Предполагаю, у него скоро проявится пневмония... или уже проявилась. Лихорадка вполне может быть одним из признаков. Увы, боюсь, что ему впору думать не о жизни... или не об этой жизни.

Возможно, мне лишь почудилось, но Федор Николаевич говорил это с непонятной и совершенно неуместной улыбкой.

– Одним бесом меньше, мой милый друг, одним бесом меньше...

– Да какой он бес, помилуйте, Федор Николаевич, обыкновенный мальчишка, ни в чем не виноватый... – мне было противно и непонятно от того, что такой достойный человек, как Харыгин, говорит вещи столь откровенно бесчеловечные. Он же, нисколько не смутившись, все с той же улыбкой продолжил:

– А тут вообще виноватых нет. В чем вот виноваты вы? Или я? Или Анечка? Или та женищина, над которой вчера насилие учинили? Сходите поглядите на нее, расскажите о прощении и милосердии... или вот Анечкин кузен, добрейший человек был, ювелир от бога, историей интересовался, за реформы радел, в былое время на приют детский регулярно деньги жертвовал... к стенке поставили, прямо в квартире, вместе с супружницей и сыном... в чем он был виновен?

– И вы полагаете, что смерть этого мальчишки что-то изменит?

– Если бы я так полагал, то сам бы... в первый же день... вот этими вот руками, – Федор Николаевич продемонстрировал руки, по-женски маленькие, с белой кожей и тонкими анемичными пальцами. – А я лишь пытаюсь объяснить вам, что не стоит переживать, если этот юноша отправится в лучший из миров... возможно, это сбережет его от многих бед. И не только его.

И снова я не нашелся с ответом.

– Да бога ради, Сергей Аполлонович, не мучайте вы себя так. Одним меньше, одним больше... вот больше их с каждым днем становится, откуда только... будто заражаются,

право слово, будто ненависть эта навроде инфлюэнцы, постоял рядом с больным, подышал одним воздухом, и все, готово... был человек, стал комиссар.

Из приоткрытого окна тянуло дымом, внизу, во дворе, жгли траву и облетевшие, пожухлые от летней духоты листья. Сизая марь подымалась вверх, к небу, будто желала заполнить редкие просветы меж туч.

Дождь скоро. Дождь – это хорошо, пыль прибьет да и грязь с улиц смоем. Федор Николаевич еще что-то говорит, а я не слышу, вот странное дело, стою рядышком совсем, разглядеть могу каждую морщинку, каждую складку на халате, серые полосы пота на манжетах, мятый воротничок да подзаросший щетиной вялый подбородок. А звуки вот не долетают. Подобного со мною прежде не случалось, оттого и замер, застыл, против воли наблюдая за движениями харыгинских губ, заодно и отметил, сколь разительно изменился Федор Николаевич за последнее время. Подурнел, поблек, поистаскался, будто парадный мундир, который по недосмотру вместо повседневного надевать стали...

– Сергей Аполлонович, с вами все хорошо? – звуки вернулись внезапно, резко. Я вздрогнул.

– Вид у вас несколько болезненный... – Федор Николаевич подошел к окну и захлопнул створки, дым, небо и позднее лето остались за мутным стеклом. – Вы уж извините меня за болтливость... устал от всего этого... душа не принимает. А насчет Озерцова, то, опасаясь, до вечера не дотянет.

Дотянул. И до вечера, и до утра, и до следующего вечера, когда в госпиталь заявили двое в черных кожаных куртках с пролетарски чистыми взглядами да кобурами на поясе. У господ комиссаров с Федором Николаевичем состоялась некая беседа при закрытых дверях, длилась она не сказать чтобы долго, но вполне достаточно для слухов, а Степанида Аникеевна, наша сестра милосердия, даже в слезы ударилась, уверившись, что Харыгина заберут.

Признаться, и у меня подобные опасения возникли – уж больно несдержан был Федор Николаевич в речах, уж больно откровенно недолюбливал нынешнюю власть. Однако же обошлось. Единственно, согласно договоренности либо вследствие прямого приказа, но Харыгин распорядился перевести Никиту в отдельную комнату, и мне было велено, оставив прошлые обязанности, находиться при раненом неотлучно.

Я и находился.

Яна

– Это значит... Ян, ты не понимаешь... это значит, что его поса-а-адят, – Ташка завывала, и я испугалась, что голос ее, вырвавшись из трубки, разлетится по квартире. Данилу разбудит.

Данилу пороть надо, а не сон его золотой охранять. Хотя нет, пороть поздно. А что делать?

– Он... он вчера умер... и теперь выходит, что это не нападение... не хулиганство... убийство.

Слово кольнуло острыми углами. Убийство. Это когда кто-то кого-то за что-то лишает жизни. За что?

– За что мне это? – вторила Ташка. – Теперь все... адвокат не помо-о-о-жет. И выходит, что Данила...

Убийца. Мой племянник, которому не так давно исполнилось пятнадцать лет, бритоголовый мальчишка со слегка оттопыренными ушами и Ташкиными голубыми глазами, – убийца.

Скрипнула дверь, и пол, проседая под ногами, мягко предупредил о чьем-то приближении. Данила таки проснулся, стоит на пороге спальни, точно раздумывает, шагнуть ему в «общее» пространство или остаться на нейтральной территории своей комнаты. Я приложила палец к губам, Данила кивнул, отступил назад и тихо прикрыл за собой дверь.

– Ян, а что теперь делать-то? – спросила Ташка. – И... ты же видела, он хороший... он не убийца... не убийца он... просто получилось так.

Просто. Почему-то поначалу всегда все просто. У меня есть сестра. У сестры есть сын. Он – нацист и малолетний убийца. Он сидит на высоком стуле, сгорбившись от боли, и, обнимая кружку, шумно хлебает горячий чай. Опухоль с лица чуть спала, но зато синяки потемнели, набрякли чернотой, и оттого вид у Данилы жалкий.

Убийца... да господи, какой из него убийца?

– Мамка расстроилась, да? – спросил он, отставив кружку в сторону. На содранных костяшках пальцев крапинки засохшей крови. Ногти обгрызены.

– Да.

– Так мы ж не думали, что он... того... помрет... мы вообще не...

– Не думали, – я медленно заводилась. Какого дьявола он вообще в это национал-радикальное болото сунулся? Какого теперь сидит в моей квартире, пьет мой чай и нарушает спокойное течение моей не-жизни?!

– Он... он же не русский... по-нашему почти не говорит, а важный... при бабках... крутой типа... все можно... он наших баб снимал, за бабки снимал... и к Гейни подкатить хотел, а она послала... и мы... мы проучить, просто, чтобы место свое знал, а то если деньги есть, то все можно, да?

Все. Или почти все. Вопрос в Даниловых глазах почти упреком, ну, конечно, я ведь тоже не бедная, деньги есть... и позволить себе могу многое, так что же, меня избивать?

Данила вздохнул и потянулся за кружкой.

– Да мы не сильно его... ну в морду двинули... и по ребрам пару раз. Да он вообще сам ушел...

– А теперь сам умер. Взял и умер. Ну как, приятно осознавать, что человека убил? Или он не человек, если не русский? Одной сволочью меньше, так ты теперь радуешься, да? – Я не хотела этого говорить, мне вообще плевать на эти межнациональные проблемы. И на умершего, в общем, тоже плевать – я ведь его не знала.

Так почему же тогда не заткнись?

Данила сполз с табуретки и молча ушел к себе, даже дверь прикрыл тихо, виновато, а на столешнице осталась кружка недопитого чая.

У чая явный привкус меди, и я снова плачу.

Данила

За эти два дня в пустой квартире он почти свихнулся. Поговорить не с кем – тетка уезжала рано утром, а возвращалась поздно вечером, хотя так даже лучше. С ней точно говорить не о чем, да и не захочет она. Тетка считает его убийцей. Странно, что вообще из дому не выгнала.

Лучше бы отправила домой, тогда бы он показал, что никого не боится и от суда бегать не станет. И вообще дома Гейни и Ярик, они ведь тоже были, значит, расскажут, как все было...

Данила пытался звонить, сначала Гейни, но та бросила трубку, потом – Ярику, этот вообще вне зоны доступа оказался, а Ратмир велел на ерунду не отвлекаться. Хотя какая ж это ерунда?

В пустой квартире даже думалось иначе – мысли множились, роились, отзываясь головной болью и гулом, который то нарастал, заполняя все пространство, то скатывался до комариного писка. Наверное, следовало бы рассказать об этом тетке, чтобы она отвела Данилу к врачу, а тот выписал бы какой-нибудь укол, убивающий гул и боль. Но Данила молчал. Во-первых, еще в больницу положат, а ему звонить скоро надо и посылку отвезти. Во-вторых, Яна, сто пудов, ответит, что Данила сам виноват...

А сегодня гула почти не было, и боли тоже, так, скреблось что-то в висках, и все, зато на звонок ответили почти сразу, и адрес продиктовали, и сказали, как добраться.

Спросить следовало Ольгерда.

Данила еще раз повторил адрес и имя и, одевшись, вызвал такси. Нет, все-таки тетка странная, разговаривать – не разговаривает, а деньги оставляет. И ключи тоже.

Ехали долго, таксист молчал, только поглядывал косо, а Данила пытался прикинуть, хватит ли денег, чтобы назад вернуться, и что делать, если не хватит.

Хватило, и даже осталось прилично. Все-таки чем-чем, а скупостью тетка не страдает, вот только таксист ждать отказался. Ну да и черт с ним, с таксистом.

Данила прошелся по улице, просто чтоб осмотреться. Пусто, жарко, пыльно, дорога раскалилась так, что на асфальте остались следы протекторов, здорово воняло резиной и дымом, как будто где-то листья жгли. Хотя, может, и жгли – почти вплотную к дороге примыкали высокие заборы, и рассмотреть, что творится за ними, не представлялось возможным. Номера домов, вычерченные на одинаковых белых табличках одинаковым же строгим шрифтом, смотрелись такими специфичными украшениями, как и черные ящики домофонов.

Потоптавшись – отчего-то вдруг стало страшно, возникло желание бросить все и, выбравшись из этого странного места, вернуться в привычную пустоту теткиной квартиры, – Данила таки решился нажать на кнопку. И речь приготовил, только не понадобилась, ворота с тихим щелчком открылись.

Большую часть внутреннего пространства занимал дом, не самый крутой из тех, что доводилось видеть, но тоже кульный, этаж один, крыша блестит новенькой черепицей, окна распахнуты – стопудово стеклопакеты, навроде тех, что в теткиной хате стоят. В общем, не дом, а картинка. И двор почти картинка, никаких тебе грядок с морковкой-петрушкой, газон, редкие кусты, две слегка пожелтевшие от жары елки и вымощенная камнем дорожка к порогу.

А уже там, на пороге, перед самой дверью лежал доберман. Пока просто лежал, растянувшись в тени под крышей.

– Эй! Есть тут кто? Я – Данила! – Данила остановился у ворот, не решаясь ступить во двор. Да и кто б решился! С такими собаками не шутят. Словно желая подтвердить репутацию породы, доберман оскалился и зарычал, тихонько, предупреждая о возможных последствиях вторжения.

– Эй! – Данила прикинул, что выскочить на улицу по-любому успеет. – Это Данила! Мне Ольгерд нужен!

Наверное, орать не следовало, собака вскочила. Ну и тварь! С черной доберманьей морды капала слюна, розовый язык чуть вздрагивал от частого дыхания, а длинные клыки выглядели жутко.

– Принц, лежать! Свои. А ты заходи, он не тронет, – хозяин не соизволил выйти из дому, и Данила, ступая по дорожке, не сводил с собаки глаз. А та не сводила глаз с мальчишки. Желтых, с черными зрачками. Шкура у нее была черная, лоснящаяся то ли жиром, то ли потом (правда, собаки вроде не потеют), а купированные уши торчали навроде рогов.

Когда до дома осталось шага три, Принц вяло и как-то совсем не по-доберманьи плюхнулся на крыльцо и положил морду на вытянутые лапы.

– Х-хороший...

– Плохой, – ответил хозяин дома, открывая дверь. – Бракованный. На усыпление привезли. Значит, Данила? Заходи. Я – Ольгерд.

В доме было сумрачно и прохладно, как-то пыльно, будто долго-долго не убрали, и сразу хотелось чихнуть. Но Данила терпел – не хватало еще опозориться перед таким человеком. Ольгерд выглядел круто, даже круче Ратмира. Высокий, поджарый, темноволосый, он чем-то напоминал добермана. И глаза светло-карие, в желтизну, и зубы белые, блестящие, с чуть выпирающими вперед клыками, так что не понять, то ли улыбается, то ли скалится, предупреждая о том, что сейчас горло вырвет. Данилова рука сама потянулась к горлу.

– Не бойсь, своих не трогаю. На кухню топай, прямо по коридору и до упора. А я счас. И не лапай там ничего.

Через распахнутое настежь окно тянуло дымом и сквозняком, скомканный газетный лист, скатившись с подоконника, упал на пол, присоединившись к таким же черно-бело-желтым комкам. Грязно тут. И неудобно. Желтые стены, местами повыгоревшие, точно подплесневевшие, плита, подпертая кирпичом, два стула и три странных стола.

– Че, никогда таких не видел? – Ольгерд возник за плечом до того неожиданно, что Данила вздрогнул. И тут же стало стыдно, подумаешь, подошли сзади, так чего трястись теперь.

– Этот мне друган подогнал, из морга, натуральный, – Ольгерд похлопал ладонью по поблескивающей сталью поверхности. – А те два по заказу. Значит, тебя Данилой звать?

– Да.

– Да не бойсь, Данила, я вообще не страшный. А где тебе физию поправили? Хотя я в чужие дела не лезу... и сам любопытных не люблю. Ну, Данила, будем, значит, знакомы.

– Будем, – Данила протянул руку и почти не поморщился, когда хозяин дома сдал ее так, что, казалось, кости хрустнули. А Ольгерд довольно заржал – шутка у него такая, и, отпустив руку, поинтересовался:

– Значит, принес?

– Принес. – Данила скинул рюкзак с плеча и, отыскав сверток, положил на стол. – Вот.

Ольгерд взял пакет, повертел в руках, помял пальцами, проверил печать и, кивнув, вышел.

Все? Неужели все? В висках молоточками застучала боль, голова закружилась, не вовремя, до чего не вовремя... хотя нет, теперь-то можно, теперь хоть в обморок падай, хоть в больницу отправляйся, задание он выполнил, в точности как велено было.

Ольгерд вернулся минут через десять, когда гул в голове, достигнув пика, пошел на спад.

– Я могу идти? – Из этого дома хотелось выбраться поскорее, и Ратмиру позвонить, обрадовать, тот, наверное, нервничает.

– А кто тебя держит-то? – хмыкнул Ольгерд, но тут же улыбнулся дружелюбно и попросил: – Слышь, Данила, ну раз пришел, то, может, подмогнешь?

– А чего делать? – Данила поставил рюкзак в угол, прикоснуться к длинным столам, жутким, как в кино про маньяков, не хотелось. Помочь он готов, знать бы еще, чего делать.

– Да особо ничего. Шкуру снять... не, ты не пугайся, подержать там, нож подать, воды плеснуть.

– С кого шкуру снять?

Оказалось, с Принца. Того самого Принца, который встретил Данилу рычанием, но потом по Ольгердовой команде спокойно улегся и пустил в дом.

– Урод он, – спокойно объяснил Ольгерд, стягивая майку. Загорелый, накачанный, но не тупо, как те, которые в журналах, мышцы живые, рабочие, и удар, видно, хороший. У Данилы мышцы пока слабые, по словам Ярика, на дохлые веревки похожи, но это пока, Данила занимается и когда-нибудь непременно добьется, чтобы как у Ольгерда, чтобы не веревки – канаты. – Расходный материал.

– Почему?

– Потому. Слушай, ты всегда такой любопытный?

Данила пожал плечами, не любопытный он, собаку жалко. Ольгерд понял, сразу и без слов, оскалился и скомандовал:

– Пойдем, покажу кой-чего.

Клетки. Двадцать или даже больше. Узкие, сваренные из стальных трубок, перетянутых сетью. Крепкие. Достаточно крепкие, чтобы удержать зверят.

– Патриций, – Ольгерд стукнул по ближайшей, рывкнув: – Лежать! Здоровый, черт, и характер что надо, никому спуска не даст. Парма, сестричка его, – пинок по соседней клетке, грозный рык, на который охотно ответили соседи.

Истошный лай, мельтешение буро-черных тел, удары о сетку, клыки, слюна и пена.

– С-симпатичные, – только и сумел выдавить Данила, отступив на шаг назад – поближе к выходу из подвала.

– Адские собачки, – Ольгерд похлопал по клетке, и зверюга внутри заметалась, завизжав от злости. – Вот эти три мои, рабочие, еще пара на развод, а тех, крайних, – на продажу, если кому поиграть захочется. Что, не допер еще?

Данила не допер. Он вообще был не в состоянии думать здесь. Выбраться бы, оказаться подальше от собак, тусклого электрического света, от вони и лая-воя-рыка.

– Ладно, пошли, малыш, а то, гляжу, ты скоро уделаешься со страху. Цыц, я вам сказал!

Собаки команду проигнорировали, звуки проникали сквозь запертую дверь, заставляя подниматься по лестнице быстрее. Залитая солнцем кухня показалась родной и донельзя уютной.

– Собак я развожу, – Ольгерд сел на стол. – Бои устраиваю.

– Доб-берманов? – Даниле было стыдно за свое поведение. Трус, как есть трус. Подумаешь, собаки, было бы чего бояться, тем более что по клеткам сидят.

– Есть у меня пара стаффов, питбуль и кавказец. Но доберманы круче, у них характер, сила, желание сожрать противника, даже когда кишки на полу и кровь из горла... а Принц – урод. Лаааасковский, – Ольгерд произнес слово скривившись. – И ведь нормальным же был, а как порвали разок, все, сдался, сдох, теперь чуть что – брюхом кверху, такого только в расход. Да ты не дрейфь, сам все сделаю... он даже вякнуть не успеет.

Принц по-прежнему лежал на пороге и, увидев людей, вяло шевельнул обрубок хвоста. Страшный, черный весь, глаза желтые, клыки, когда скалятся, здоровые, а левый бок весь в шрамах – Данила только теперь заметил бело-розовые нити, частью еще свежие, яркие.

– Видишь, спокойный. – Ольгерд присел на пол и, похлопав ладонью по колену, позвал: – Ко мне, Принц, иди сюда.

Доберман встал, лениво, как-то обреченно, будто понимал, зачем зовут.

– Ко мне, ко мне... вот так, мальчик, больно не будет. – Непонятно, для кого Ольгерд это говорил, для Принца или для Данилы. – Раз и все, раз и смерть... солнышко закатится. Умница, а теперь лежать.

Пес послушно плюхнулся на пол и, приоткрыв пасть, вывалил розовый язык. Улыбается. Данила и сам не понял, с чего решил, будто доберман улыбается, просто показалось.

А еще показалось, что нельзя вот так... выбраковывать. Нечестно. У Ольгерда пистолет, Ольгерд сильнее, отобрать не получится, Ольгерд и слушать не станет про «нечестно», он сейчас приставит дуло к собачьей голове, и все, конец.

– А... а его обязательно... убивать?

– Чего? – Ольгерд гладил пса по загривку. – А что с ним еще делать-то?

– П-продай, – Данила от волнения заикаться стал. – У меня деньги есть... если мало, я еще привезу, честно.

– Его? Продать? На хрена тебе этот урод? Хочешь собаку, так я нормальную подберу, такую, чтоб перед пацанами не стыдно было и ни одна сволочь близко не подошла.

Данила мотнул головой.

– Че, жалко стало? Всех уродов не пережалеешь!

– Сколько? – вдруг стало страшно, что не хватит денег. В кармане лежало триста баксов, больше, чем когда-либо было у Данилы, но все равно, вдруг не хватит, Ольгерд ждать не станет, и тетка не согласится собаку покупать...

– Двести давай, и пятьдесят за ошейник и прочие приамбасы. Как щенка отдаю. Слышь, Принц, попал ты в добрые, так сказать, и хорошие руки... – Ольгерд поднялся, вытер руки о штаны и, взяв деньги (все-таки хватило, и на обратную дорогу еще осталось), засунул их в карман. – Ну а тебя с приобретением. Надумаешь нормальную собаку взять, приходи, побазарим... да, и на улицу не выбрасывай, если что, сюда приводи, договоримся.

Принц закрыл глаза, кажется, ему было совершенно все равно, а Данила снова испугался: он совершенно не представлял себе, что делать с собакой. И тетка совершенно точно не обрадуется.

Выгонит, теперь как пить дать выгонит.

Руслан

Блондинка Эльза, специалистка по собачьим боям и подруга суки-Цереры, согласилась на новую встречу сразу, правда, толку Руслан не ждал, но чем черт не шутит. Если двое из четверых потерпевших держали собак, а еще двое – правда, по непроверенным данным, но лучше, чем вообще ничего, – постоянно посещали бои, то имеет смысл поглубже копнуть в этом направлении.

В парке было прохладно, деревья рассеивали солнечный свет, создавая ажурную полутьму. Уютно. Хорошо. И рубашка к спине не липнет, и пот больше не катится по шее, присесть бы еще, подышать воздухом, закрыв глаза, представить, будто в отпуске...

– Приятное место, – Эльза была в платье, бело-голубом, воздушном, подчеркивающим кукольную красоту. – Я люблю бывать здесь. Вон там, дальше, можно присесть, будет удобнее разговаривать.

Высокий кустарник окружал лавочку с трех сторон, как бы отгораживая от внешнего мира, создавая атмосферу уединения. Мысль об интимности оказалась до того несвоевременной и неожиданной, что Руслан смутился. А когда Эльза присела и короткий подол платья скользнул вверх – почти до неприличия, – смутился еще больше. Обстановка, прямо сказать, не располагала к допросу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.